



Часть вторая

1.

За ночь снегу прибыло, утром тоже порошило. На крышах бараков снег уже лежал слоем толщиной в ладонь.

Лагерь проснулся, как обычно: удары в рельс, возгласы «Kafé holé-é-é...» Штубендинсты побежали за кофе.

— У нас в лагере девушки! Слышали?

На «мусульман» в бараках эта новость произвела куда меньшее впечатление, чем на проминентов в конторе. «Девушки?» — повторяли мужчины на нарах, покрытых стружкой, и недоуменно глядели большими глазами.

— Не могли, что ли, прикончить их там, потащили сюда, в Гиглинг! — проворчал Мирек. — В лагере, где не выдержит здоровый мужчина, должны жить девушки?

— Ты все об одном: прикончить да прикончить, — рассердился портной Ярда, долговязый чех, которого за его упрямую наивность прозвали «младенчик Ярда».

— Вот тебе лучшее доказательство, что все рассказы о газовых камерах и крематории в Освенциме — попросту безбожное вранье. Девушек не привезли бы оттуда, если бы хотели их прикончить. Я эту вашу паникерскую болтовню и слушать не хочу!

Он повернулся на бок и с головой накрылся одеялом.

«Младенец Ярда!» — вздохнул Мирек и махнул рукой. Какой смысл спорить с несчастным, у которого в Освенциме погибла жена и двое детей, а он сейчас отчаянно убеждает себя, что газовые камеры не существуют, потому это, мол, это просто невозможно. И он не единственный Фома неверный, многие другие тоже прошли через [154] «лагеря истребления», собственными глазами видели газовые камеры, «селекции» и все же готовы чуть не с кулаками доказывать, что всего этого нет.

Весть о появлении девушек не вызвала ни в одном из полутора тысяч «мусульман» тех плотских вожелений, которые Зденек вчера заметил во взглядах проминентов. Людям в бараках, изголодавшимся, грязным, простуженным, уже давно было чуждо это чувство, оно атрофировалось, отпало, как шелуха, вместе со старой одеждой в Освенциме, просто выветрилось из сознания. Мало кто из узников отчетливо сознавал — как осознал это Зденек, — что в нем что-то угасло и отмерло и что над этим стоит призадуматься и даже встревожиться. «Девушки? — «мусульмане» покачивали головой, и соглашались с Миреком. — В самом деле, на

что они здесь? Тут и мужчины не выдерживают, каково будет девушкам?. Бедняжки?»

Но и у проминентов не было общего взгляда на этот счет. Мы знаем, например, что за странный человек был Диего Перейра, капо могильщиков. Этот плечистый коротышка в берете, с толстым шарфом на шее хладнокровно обламывал конечности трупов, если они не помещались на тележку. Его даже сам рапортфюрер Копиц обозвал бесчувственным зверем. И вот сегодня утром Шими-бачи зашел за Диего.

— Пойдем, — хмуро сказал старый доктор. — Я только что был в женском лагере. Помоги-ка мне.

У новой калитки их ждал Лейтхольд. Сегодня был первый день его службы в лагере. Напускной суровостью Лейтхольд старался прикрыть свой страх и неуверенность. Он молча впустил их в женский лагерь, запер калитку и остался стоять возле нее.

Испанец шел вслед за доктором, чуть наклонив голову, но поглядывал во все стороны, все замечал и запоминал. По ступенькам они спустились в барак-землянку. Диего потянул носом, забеспокоился: тут пахло совсем не так, как в мужских бараках. Когда глаза его свыклись с полутьмой землянки, он различил на нарах фигуры, прикрытые до глаз грубыми серыми одеялами. Глаза у всех были заплаканные, из-под одеял слышались всхлипывания и жалобы на непонятном языке.

В конце барака на земле лежало неподвижное тело — явная причина всего этого переполоха. [155]

— Умерла, — сказал Шими-бачи. Он был самым пожилым из врачей, и поэтому сегодня утром эсэсовцы назначили его врачом женского лагеря. — Я помогу тебе унести ее, Диего, — продолжал он и нагнулся, чтобы снять с мертвой одеяло.

— Не надо, — хрипло сказал испанец. — Я сам понесу. И в одеяле.

Шими-бачи посмотрел ему в глаза.

— Не выйдет, приятель. Эсэсовец категорически приказал оставить платье и одеяло здесь. Мы похороним ее, как обычно.

И он снова нагнулся, чтобы снять одеяло с худенького мертвого тела.

Диего втянул голову в плечи. В ушах у него мучительно отдавался плач женщин, который усилился и перешел в нестерпимый вой, когда они увидели свою мертвую подругу обнаженной. Диего быстро нагнулся и снова покрыл ее одеялом.

— Я понесу ее в одеяле, и баста! — сказал он так решительно, что Шими-бачи не стал возражать. Диего поднял труп, как перышко, и понес его к выходу. Осторожно, чтобы не задеть, он протиснулся в дверь и с облегчением вдохнул запах утра и свежего снега. Потом он зашагал прямо к калитке. Шими-бачи поспешил за ним, боясь, что за нарушение приказа достанется прежде всего ему, доктору.

Лейтхольд сделал недоуменное лицо.

— А одеяло? — заорал он, не пропуская их в калитку.

Диего крепко выругался, на счастье, по-испански.

— Что... что он сказал? — забормотал Лейтхольд, но Шими-бачи притворился, что не понял испанского ругательства.

Диего перешел на французский:

— Скажи ему, что эсэсовца я охотно похороню и голого, а свою сестру — нет!

Шими-бачи преодолел опасения и храбро перевел:

— Капо говорит, что мужчину он похоронит хоть и без одежды, а свою сестру — нет.

— Она его сестра? — опешил Лейтхольд.

С розового лица доктора исчезла последняя тень улыбки. [156]

— Кило, видимо, хочет этим сказать, что все заключенные женщины — наши сестры.

— *Blödsinn!* <Вздор! (нем.)> — Эсэсовец махнул тощей рукой, в душе радуясь, что дело не осложнилось настоящим родством. — В лагере, мал он или велик, каждый заключенный — только номер. Никаких мужчин, никаких женщин — номера! Снимай одеяло!

Диего вновь разразился стремительным каскадом отборной испанской брани. Шими-бачи прервал его, положив ему руку на плечо:

— Погоди-ка, дай мне объяснить твою точку зрения господину эсэсовцу, — и продолжал, обращаясь через забор к Лейтхольду. — Капо просит завернуть ее во что-нибудь. Хотя бы в бумажный мешок из-под цемента. Не годится хоронить женщину обнаженной...

— Мешок из-под цемента? — Лейтхольд почесал за ухом. — А где его взять?

«Ага, клюнуло!» — обрадовался доктор.

— Это очень просто, — продолжал он. — У нас в лазарете есть такие мешки. Мы их используем для перевязок.

Это было сказано так запросто, что эсэсовец подумал: за дурака они меня принимают, что ли?

— Бумажные мешки для перевязок? Что за чушь ты несешь, старый олух!

— Я врач, господин шарфюрер, старый врач, — закивал головой Шими-бачи. — В университете нас этому не учили, но здесь в самом деле приходится использовать для перевязок бумажные мешки вместо бинтов. Все-таки лучше, чем ничего.

Лейтхольд сдался. Эти люди говорят на непонятном языке и о неведомых ему вещах. Взглянув в горящие глаза человека за калиткой, стоявшего с трупом в руках, он не мог удержаться от жуткой мысли о хищниках в клетке.

— Мне все равно, — сказал он, — делайте как знаете. Капо пусть несет эту женщину в мертвецкую, а вы, доктор, сходите за мешком. И чтобы через пять минут одеяло было на месте, *verstanden?*

Он отпер калитку, и Диего прошел через нее со своей легкой ношей. Не обращая внимания на недоуменные [157] взгляды со всех сторон, он медленно шел по апельплацу, засыпанному свежим снегом. Ветер трепал концы серого одеяла, и Диего прижал свою ношу теснее к груди.

* * *

Если не считать этого инцидента, то в лагере было все спокойно, и никто из эсэсовцев, кроме Лейтхольда, видимо, не собирался сегодня заходить в бараки. Дейбель уехал в Дахау — договориться о поставке обуви и верхней одежды, Копиц все еще уныло сидел в комендатуре. Писарь с папкой под мышкой постучал в дверь и подал ему суточную рапортничку численного состава заключенных: 1618 мужчин, 79 женщин, 19 мертвых, в том числе 1 женщина.

Копиц нахмурился. 18 мертвецов! А он ожидал лишь двенадцать. Это плохо. И всему причиной общий сбор — затея Дейбеля.

— Скажи Имре, чтобы немедля выломал золотые зубы, а Диего пусть приезжает с тотенкомандой. Девятнадцать трупов не войдут разом в тележку, придется им сделать два рейса.

— Jawohl, Herr Rapportführer!

Писарь видел, что Копиц сегодня раскис, и потому рискнул изложить ему просьбу старшего врача.

— Старший врач предлагает отвести для больных восьмой и девятый бараки, что рядом с лазаретом. Он хочет поместить там тяжелобольных, это очень облегчило бы дело: не придется посылать их на сборы...

— Два барака? Значит, у него уже больше сотни тяжелобольных? — нахмурился рапортфюрер.

— Он говорит, что даже больше. Сегодня ночью у многих был сильный жар. Сказать по правде, Оскар просил три барака. Я за то, чтобы дать ему хоть два. Герр рапортфюрер, конечно, помнит, что и в Варшаве у нас было несколько больничных барачков.

— Согласен, — сказал Копиц. — Что еще?

— Вы приказали начать сегодня стройку новых барачков. Поэтому прошу не устраивать общего сбора. С вашей помощью мы позавчера скомплектовали рабочие команды, теперь мы снова используем их. Арбейтдинст Фредо обязуется обеспечить бесперебойную работу.

— Ладно, ладно, — проворчал Копиц. — Уж это само собой разумеется. Только скорей начинайте. Снег мешает [158] работать, я знаю... но вы скажите людям, что они строят бараки для себя и для своих же товарищей, которые приедут в воскресенье. Если барачков к этому времени не будет, новичков придется разместить прямо на снегу. Вы же не допустите этого?

— Не допустим! — гаркнул писарь, сердце его ликовало: Копиц заговорил по-иному. Значит, здесь будет рабочий лагерь и никто не станет нарочно истреблять заключенных!

— Да, вот еще о женщинах, — сказал Копиц, роясь в бумагах. — После обеда все мужчины, кроме Мотики и Фердла, прекращают работу в кухне. В лагерь придет надзирательница, осмотрит девушек, назначит одну из них старостой и выделит людей для кухни. Остальные будут уборщицами в бараках охраны и подсобницами в столовой эсэ. Это даст возможность кое-кого из мужчин отправить на фронт. Пока что пусть женщины остаются на своих местах и отдыхают. А для мужчин

главная задача — построить до вечера семь бараков. Если они с этим не справятся, то... — тон Копица вдруг стал прежним — ...тогда завтра распоряжаться в лагере начнет обершарфюрер Дейбель. А Фредо получит двадцать пять горячих. Willst, daß im Lager der Deibel los ist? <Хочешь, чтобы в лагере хозяйничал Дейбель? (нем.)>

Это был многозначительный каламбур. В невнятном произношении рапортфюрера имя «Дейбель» прозвучало, как «Тейфель» — по-немецки «черт»: «Хочешь, писарь, чтобы в лагере хозяйничал черт?»... В поросячьих глазах Копица мелькнуло былое ехидство. На этом разговор был окончен.

Вернувшись в контору, писарь застал за своим столом Хорста. Вооружившись красками, кисточкой и старой рубашкой, разрезанной на лоскутья, Хорст изготовлял нарукавные повязки для проминентов. Одна была уже почти готова: красивые буквы складывались в слово «Lagerälteste» <здесь: «Староста женского лагеря» (нем.)>.

— Глянь-ка! — с восхищением сказал Хорст, поглаживая усики. — Красота, а?

— Ты — взрослый ребенок, — пробурчал писарь. — Сразу видно, что ты был декоратором магазинных [159] витрин. Так ты им и останешься до самой смерти. Неужто у тебя нет других забот?

— А что? — засмеялся Хорст и встал, все еще любуясь повязкой. — Ты, колбасник, ни за что не написал бы так красиво! Ничего ты не смыслишь в учтивом обхождении. Это же венгерки, приятель! С ними нужно быть кавалером! Вот я подойду к их старосте, преподнесу ей повязку и скажу: «Староста мужчин — старосте женщин». И больше ни слова. Может быть, она позволит мне надеть ей повязку на руку...

— Опять тебя забрало! — писарь покачал головой. — А я думал, что после того, как ты ночью увидел их, у тебя пропала охота...

— Видел, ну и что же? — Хорст покачался на носках. — Не всегда же они будут замученными и безволосыми. Волосы отрастут... черные или белокурые. Знаешь ты, что среди венгерок много блондинок? А потом: ведь и наголо обритая баба в платочке все равно остается бабой, а?

Писарь не собирался попусту тратить время. Он выпроводил Хорста из конторы, повернулся к Фредо и вкратце рассказал ему о разговоре в комендатуре, разумеется, изобразив дела так, что, мол, рапортфюрер настаивал на общем сборе и лишь благодаря бесстрашию писаря, его настойчивости и дипломатической ловкости лагерь может радоваться тому, что эта беда теперь отвращена. Сейчас все зависит от Фредо, надо, чтобы он образцово организовал работу на стройке.

Как ни странно, Фредо не проявил особого энтузиазма.

— Писарь, — сказал он, — снегу навалило сантиметров на десять. Знаете вы, как трудно будет рыть землю?

— Не так уж трудно, — возразил писарь. — Позавчера мы без заминки поставили три барака, да еще бетонированный нужник и забор. А сегодня надо поставить только семь бараков. Сгрести снег лопатами, только и всего. Земля под ним не промерзла, а это главное. Кстати говоря, лучше работать в такую погоду, чем в оттепель, когда снег растает и в лагере будет море грязи. Забыл ты, что ли, как

выглядел Освенцим в такое время года?

Какими бы недостатками ни отличался писарь, ясно было одно: он не дурак. И Фредо решил объясниться напрямик.[160]

— Слушайте, Эрих, — начал он с необычной фамильярностью, — мы с вами знакомы уже не первый день. Вы знаете мои взгляды, а я, мне кажется, знаю ваши. Я с вами сотрудничаю потому, что, как и вы, верю, что «Гиглинг 3» будет рабочим лагерем и что в таких условиях у нас есть немало шансов дожить до конца войны. Говоря «у нас», я имею в виду большинство наших заключенных. Если бы такие шансы были только у вас и у меня, я бы вам не помогал, вы это отлично понимаете. И вот я спрашиваю вас: под силу большинству наших заключенных построить двадцать семь бараков за четыре дня? Люди перенесли два убийственных сбора на апельплаце, среди них есть босые. Нагрянула стужа, а когда мы получим верхнюю одежду, неизвестно. Можно ли в таких условиях гнать людей на тяжелую работу? Не было бы умнее поговорить с Копицем о том, чтобы отсрочить приезд новой партии заключенных?

Писарь сел на скамейку и покачал головой.

— Ловкий грек, и такое сморозить! О господи, давно уж я не слышал такого глупого умничанья. Во-первых (Эрих, как и Гитлер, любил все перечислять по пунктам), во-первых. Копиц для этого слишком мелкая сошка. Не ему остановить машину, которая посылает и не перестанет посылать нам новичков. Копицу не хочется на фронт, так же как мне не хочется в газовую камеру. Во-вторых, бараки мы строим для себя. Копиц сказал, что новая партия приедет в воскресенье и, если бараки не будут готовы, он выгонит старожилов на снег, а новеньких поселит на наши места.

Писарь соврал. Копиц не говорил ничего подобного. Но эта версия так понравилась Эриху, что он разукрасил ее новыми подробностями. (Писарь не раз с упоением думал: худо приходилось бы нашим хефтлинкам, будь эсэсовцы хоть вполовину так изобретательны, как я! Слава богу, что они такие балбесы. Умей они придумать то, что удастся придумать мне! Тогда врагам Третьей империи было бы не до смеху. Взять, к примеру, хоть и самого Гитлера. Весьма ловкий тип, но будь у него такая голова, как у Эриха Фроша, ого, тогда берегись весь мир!)

— Говорю тебе, — продолжал он серьезным тоном. — Копиц собирается в воскресенье выгнать всех нас на снег, а на наши места разместить новеньких. И ничего тут нет удивительного! Уж если мы за четыре дня не [161] управимся с несколькими полуметровыми ямами и не поставим над ними бараки из готовых частей, куда же мы годимся?! Новички будут посвежее, вот из них и создадут рабочий лагерь, если мы сплеховали. Понятно, Фредо? Все поставлено на карту. Семь бараков в день — это не так уж много, людей у нас хватает, если понадобится, можно работать и ночью при электричестве. Но мы должны их построить! Иначе завтра же тут начнет свирепствовать Дейбель, тебя отстранят и излупят, и, ручаюсь, бараки все равно будут построены, даже если к воскресенью все мы передохнем. Радуйся, что я в этом деле добился хотя бы самоуправления. Иди-ка, собирай рабочие команды и, если надо, вели капо взяться за дубинки.

Фредо встал.

— Вот то-то и оно, Эрих! В такую погоду и при нынешнем самочувствии людей

никто не пойдет работать добровольно. Если бы я мог пообещать добровольцам дополнительное питание или еще какое-нибудь поощрение, тогда другое дело. А с пустыми руками мне не согнать их с нар. Вы говорите: дубинки. Но ведь вы обещали Оскару, что побоев больше не будет, что случай с разбитой челюстью будет расследован и все прочее. А вместо этого выходит, что я сам должен сказать капо: бейте! Так знайте же, Эрих, я этого не сделаю.

Помощник писаря Зденек, нагнувшись над картотекой, делал вид, что работает и не слушает разговора. Но при последних словах Фредо он невольно поднял голову и разинул рот. Он и раньше ощущал безотчетную симпатию к греку-арbeitдинсту, догадываясь, что обязан ему своим выдвижением. Но то, что он услышал сейчас, было куда важнее.

Еще совсем недавно, после перевода из Терезина в Освенцим, Зденеку жилось очень тяжело. Он чувствовал себя червяком в коробке живых червей. Стиснутый в ней, слепой и неразумный, он извивался там, как и другие черви. В истерзанном сознании жила единственная решимость: удержаться среди живых, не умереть. Уцелеть во что бы то ни стало!

Но сейчас он услышал столь странные и далекие от подобных мыслей слова, что забыл о необходимости изображать усердного писаря и поднял голову. Фредо тоже один из тех, кто сидит в коробке живых. Но он ведет [162] себя совсем не как придавленный червяк! С ума сошел Фредо, что ли? Ведь он говорит со всемогущим писарем... и говорит, как человек! Возможно ли?

Писарю, конечно, не хотелось отвечать при свидетеле. Он заметил полуоткрытый рот и удивление на лице своего помощника и гаркнул:

— Ты чего уставился? Делать, что ли, нечего? Ну-ка, марш отсюда! Зайди в немецкий барак, к Карльхену, и узнай, готов ли новый ящик для картотеки. А потом сбегай к зубному, запиши коронки, которые он снимет. Ну, марш!

Зденек виновато втянул голову в плечи, встал, стукнулся о стол, произнес «пardon» и, спотыкаясь, поднялся по ступенькам. Писарь подождал пока за ним закрылась дверь, потом сплюнул:

— Твой человек, Фредо! Посмотришь на него и видишь, куда ведет твоя политика. Из мусульман хочешь сделать проминентов, деликатничаешь с ними, обращаешься как с разумными людьми. Приказываю тебе немедленно выгнать людей на работу. Палками или без палок, мне все равно. Но если ты такой ловкач, почему бы тебе не убедить их, что все это в наших собственных интересах? Что неразумно спать в снегу, когда есть из чего построить землянки. Покажи свое красноречие там, не здесь. Я таких, как ты, уже видывал на своем веку...

* * *

Зденек шел в проходе между бараками, его трясло, Он никак не мог переварить услышанного. Подумать только, Фредо говорил сейчас с писарем, как представитель народа, как политик. С чего это ему вздумалось? Как будто здесь, в лагере, в коробке живых, в этой железной клетке, через которую пропущен электрический ток, можно еще возражать или предпринимать что-то!. Может ли червяк спорить с железной пятой, которая его попирает? Можно ли что-то требовать, а не быть лишь живую и радоваться этому?

Задумчиво вошел Зденек в барак немецких проминентов. Там все выглядело иначе, чем в его бараке. На нарах аккуратными рядами лежали хорошо набитые соломенные тюфяки, земляной пол был тщательно выметен, посередине стояла раскаленная докрасна железная печь. [163]

Зденек вынул руки из карманов, протянул их к печке и спросил у штубака, который стоял с веником в руке, не видел ли он капо Карльхена.

— Спроси у его хахальницы, — проворчал тот, кивнув в сторону. От неожиданности Зденек разинул рот и поглядел туда, куда указал штубак. У занавески из одеял, висевшей в глубине барака, стоял Берл, тот самый юноша, которому в очереди за едой глухонемой повар Фердл отмерил двойную порцию картошки.

Кровь бросилась в лицо Зденеку, но он пересилил себя и подошел к юноше. Около Берла стоял на коленях тощий портной Ярда и примерял ему брюки. Зденек заметил, что и куртка еще не готова: правый рукав не пришит.

Зденек не знал, как обратиться к юному щеголю, который явно наслаждался этой примеркой.

— Слушай-ка, — сказал он наконец, — ты не знаешь, где Карльхен?

Взгляд Берла из-под длинных ресниц был обращен на брюки. Он медленно поднял большие безразличные глаза и холодно взглянул на пришельца.

— Что тебе надо, мусульманин?

У Зденека все еще горело лицо. Он знал жизнь и еще дома слышал всякие сплетни о гомосексуализме среди заправил киностудии «Баррандов». Но здесь, в коробке живых, червяк среди червяков?..

— Я — писарь, — сказал он, понизив голос. Скажешь ты мне, где капо, или нет?

— Писарь? — повторил юноша и презрительно опустил углы красивого рта. — А где же у тебя повязка?

«И верно, — подумал Зденек, — повязки-то у меня нет. Сегодня я просил Хорста намалевать ее и для меня но он поднял меня на смех: «Будь ты венгерка, с удовольствием! А писарь сам умеет писать!» Ладно вот вернусь в контору и сделаю себе повязку. Не позволю, чтобы меня третировали такие сопляки, как этот!» Вслух он сказал:

— Не твое дело, где у меня повязка. Карльхен должен был сделать деревянный ящик для конторы. Я пришел за ним.

Берл опять опустил глаза и, сделав вид, что забыл о Зденеке, обратился к портному: [164]

— Брюки должны быть немного пошире, а? Господин капо... — Эти два слова были произнесены с особым ударением, — господин Карльхен тоже носит широкие...

Портной стоял на коленях и услужливо улыбался.

— Пожалуйста, как вам угодно. Но мне кажется, что вот здесь, в боках... Вам бы пошли скорее в обтяжку.

Зденеку было стыдно за мальчишку, за человека на коленях, за себя, за всю эту

гнусную коробку червей, попираемых железной пятой, которые жрут друг друга. «Свинья!» — громко сказал он и вышел не солоно хлебавши. Лучше поискать Карльхена в лагере или вернуться сюда попозже, чем унижаться перед этим ничтожным мальчишкой.

Зденек вышел из барака с чувством некоторого морального удовлетворения. Он понимал, что Карльхен наверняка узнает об обиде, нанесенной его фавориту, а иметь врага в лице Карльхена небезопасно. Зденеку, однако, казалось, что, обругав Берла, он как-то укрепил собственную уверенность в себе, что один вид подлого мальчишки всколыхнул в нем, Зденеке, человеческое достоинство. Нет, он еще не пал так низко! Ведь вот и в коробке червей есть разные степени унижения. И в ней можно сползть все ниже, а можно и распрямиться, подняться, идти против течения.

Зденек хорошо понимал, что сам-то он здорово опустился — куда ему до Фредо, который так смело говорил сегодня! Но нельзя сразу же ставить себе головокружительно высокие цели, думал Зденек. У него было приятное сознание того, что он все-таки стремится стать ближе к тем, кто возвышается над мразью этого лагеря. Пока что он только назвал хамом противного мальчишку. Невелико геройство, ведь Берл еще почти ребенок! И уж если поразмыслить обо всем этом как следует, Берл не виноват в том, что он такой, здесь вина Карльхена. Да и Карльхен сам по себе не мог быть источником стольких бед: он не испортил бы мальчишку за три дня, если бы тот уже не побывал в Освенциме и еще бог весть где. Война и фашистские порядки — вот в чем все зло!

И все-таки, даже учитывая это, Зденек был доволен: впервые в Гиглинге он вслух высказал свое мнение о ком-то, не боясь последствий, с поднятой головой. И ему было приятно сознавать это. [165]

Настроение у Зденека поднялось еще больше, когда он пришел в лазарет, где его приняли, как своего. Врачи не придавали значения тому, что на руке у него нет проминентской повязки. Оскар пожал ему руку, Антонеску приветливо наклонил голову, маленький Рач собрал сотню морщинок около глаз и ободряюще улыбнулся. «Как ваша воля к жизни? — спросил он по-французски. — Как насчет *élan vital*?»

— Спасибо, в порядке! — по-французски же откликнулся Зденек, и его «са ва» прозвучало так залихватски, словно говорил парижанин Гастон. Потом он попросил доктора Имре сходить с ним в мертвецкую — записать зубы.

Долговязый венгр взял палочку с резным набалдашником, подарок какого-то благодарного пациента, и взмахнул ею, как саблей на параде.

— Я готов, *monsieur le schreibère* <господин писарь (*франц.*)>, — приветливо сказал он и строевым шагом направился к мертвецкой. Около уборной их остановил какой-то «мусульманин».

— Герр доктор, — сказал он, показывая на свой рот, — у меня тут, в глубине, отличный золотой зуб. Кусать им все равно нечего, хе-хе, вытащите-ка мне его, а? Я куплю за него буханку хлеба и четверку отдам вам.

Имре оглянулся — не смотрит ли на них часовой с вышки, — поднял тросточку, оттянул ее рукояткой нижнюю губу пациента, взглянул на его челюсть.

— Вечером зайди в лазарет, поговорим.

* * *

Они вошли в барак в конце апельплаца. Имре кивнул на длинный ряд — девятнадцать трупов:

— Сегодня тут оживленно, а?

Зденек не в первый раз попал в мертвецкую, еще вчера он ассистировал тут зубному врачу. Поэтому на его лице появилось деловитое выражение, он вынул из кармана бумагу и огрызок карандаша и подышал на замерзшие пальцы. Взгляд его остановился на восьмом трупе, в отличие от других прикрытом пустыми бумажными мешками с надписью «Портландский цемент». [166]

— Вы уже слышали, доктор, об истории с Диего и новым эсэсовцем? — спросил он небрежно, как подобает всеведущему писарю. — Диего отказался вынести мертвую девушку обнаженной и по-испански выругал Лейтхольда сукиным сыном.

— Знаю, знаю, — улыбнулся Имре, наклоняясь над первым трупом. — Шими-бачи рассказал нам сразу же, как вернулся из конторы. Чудак этот испанец, смех, да и только... Запиши-ка: номер первый, стальной протез.

Зденек списал фамилию с бедра трупа и рядом с ней сделал пометку о зубном протезе, потом перешел к другому трупу.

Неужто в самом деле эта история с Диего — «смех, да и только»? Когда Зденек впервые услышал ее от Шими-бачи, он просто ушам своим не верил. Сказать эсэсовцу такие слова, открыто воспротивиться его воле, вынудить его изменить распоряжение — какая безрассудная отвага! «Но к чему она, к чему эта смелость? — смеялся тогда Эрих Фрош, возражая Шими-бачи, оценившему поступок Диего как геройский. — Дурацкая сентиментальность, — твердил писарь. — Дурацкая сентиментальность! Рисковать поркой ради того, чтобы жалкая покойница была похоронена в бумаге, а не голой! Хотел бы я знать, как обернулось дело, если бы Диего нарвался на Дейбеля, а не на Лейтхольда. Дейбель хорошо знает испанскую ругань, и он сразу выхватил бы пистолет...»

У второго трупа не было никаких металлических коронок, у третьего и четвертого они были. Зденек приближался к восьмому трупу, и его все больше мучал вопрос: геройски поступил Диего или нет?

Имре подошел к бумажным мешкам и открыл голову девушки, Зденек увидел красивое бледное личико. Он уже не мог держаться деловито.

— Безупречные зубы, — послышался голос доктора. — Сколько ей было лет? Наверно, не больше семнадцати? Как ее звали?

— Не знаю, — запинаясь, пробормотал Зденек.

— Так посмотри.

— Нет! — почти крикнул Зденек и тотчас устыдился этого. — Не надо! У меня в конторе есть список, я там посмотрю и впишу.

Имре бросил на него насмешливый взгляд. [167]

— Тебе не хочется глядеть на ее бедро?

— Да, — сказал Зденек и прижал ногой край бумажного мешка, чтобы не дать ему

сползти даже случайно. — Диего рисковал жизнью ради того, чтобы девушка осталась прикрытой!

Имре покачал головой.

— Вижу, что ты такой же дурной, как Диего.

И он отошел к следующему трупу. Зденек слегка усмехнулся.

— К сожалению, не такой, — сказал он хмуро. — Где мне взять такую смелость, как у этого испанца! А хотелось бы!

Он нагнулся и снова закрыл лицо мертвой девушки. «Да, есть разные степени унижения, — твердил он себе. — Не все червяки в коробке живых одинаковы. Фредо лучше других. Диего лучше других. И даже я не останусь на дне, если захочу...»

Осмотрев все трупы, Имре Рач в задумчивости остановился перед Зденеком:

— Собственно говоря, ты молодец, что так отнесся к моей соотечественнице. Странно все это... Позавчера я увидел тебя впервые; ты выглядел, как самый заправский препротивный мусульманин. Ручаюсь, что ты был совсем неспособен к каким-либо активным действиям. И вот стоило тебе два дня пожить чуточку лучше, и ты заговорил по-иному. Я военный дантист и не разбираюсь в таких тонкостях, ты поговори о них с маленьким Рачем, он, извините за выражение, психиатр и, наверное, лучше объяснит тебе, что я имею в виду...

2.

Приглядишься дантист Имре к другим заключенным из партии Зденека, он и в них заметил бы первые признаки знаменательной перемены. Как ни плох был лагерь «Гиглинг 3», он все же сильно отличался от ада, через который прошли эти «мусульмане». Изнурительный переезд в вагонах для скота без еды и без питья, пребывание в Освенциме, где перед глазами вечно дымились трубы крематория, ужасы «селекций», когда голые узники дефилировали перед эсэсовцами, а те одним мановением руки посылали многих из них на смерть..., Нет, по сравнению со всем этим первые дни в Гиглинге [168] были раем. Здесь у каждого было свое местечко на нарах, было одеяло, глоток теплого кофе и ежедневная четверка хлеба. Здесь не свирепствовала газовая камера, не наводили ужаса трубы крематория!

Зденек был не единственным измученным существом, превращавшимся здесь из червяка во что-то, похожее на человека, мыслящее. Впрочем, первые признаки этого появились много раньше, едва ли не в тот самый момент, когда еще в Освенциме захлопнулись двери товарных вагонов и состав тронулся в долгий путь — из Польши через Крнов, Бреслау, Вену, Линц, Мюнхен — до Гиглинга.

В каждом вагоне было по девяносто человек, в большинстве незнакомых между собой, — главным образом поляки и чехи, но попадались узники и других национальностей. Едва поезд выехал из освенцимского тупика, где колея проходила прямо между двух больших крематориев, едва наблюдатели, дежурившие у решетчатых вагонных окошек, сообщили попутчикам, что створки лагерных ворот снова закрылись, как в вагонах настало какое-то лихорадочно-веселое оживление. «Братцы, мы больше не в Освенциме, даже не верится!»

Тут же впервые подали голос «младенчики ярды».

— Вот видите, — объявили они, — сколько разговоров было о лагере истребления. А теперь все мы — живое доказательство того, что таких лагерей нет. Не истребили нас, не истребят и наших слабых товарищей, которые остались в Освенциме, и, уж тем более, наших здоровых жен и детей...

Тотчас отозвались скептики, вроде Мирека.

— Скажете тоже! Нас ведь посылают на работу, а не выпускают на свободу. Вот поработаем на стройках, в шахтах или еще где-нибудь, отслужим свое, ослабеем, заболеем или получим увечье, тогда нас отвезут обратно к освенцимским печам и мы уже не пройдем селекцию, как прошли в этот раз.

Третья, самая многочисленная группа держалась другого мнения:

— Что бы там ни было, сюда мы уже не вернемся. Война кончается, нацизм при последнем издыхании. Не знаете вы разве, что фронт уже у Кракова? Недалек день, когда советские солдаты взорвут газовые камеры Освенцима. Остается месяц, может быть, два! [169]

Зденек замкнулся в себе и не участвовал в этих спорах. Но большинство узников воспряло духом. Наблюдатели у окошек — уже этот факт был признаком того, что между заключенными в вагоне возникают какие-то новые отношения. Кто назначил наблюдателей? Сначала никто. Девяносто человек, загнанных в тесную коробку вагона, не могли расположиться так, как хотелось каждому. Волей-неволей кого-то прижали к решетчатому окошку, и он глотал там свежий воздух, глядел наружу и, если умел, описывал попутчикам все, что видит. Тех, кто ничего не рассказывал, скоро оттерли от этого желанного места. «Проваливай, — говорили ему, — от тебя нет никакого толку, пусти того, кто сможет нам рассказать что-нибудь».

Иногда к окну подталкивали заключенного, потерявшего сознание. Человек в обмороке не падал на пол, — упасть было некуда. Его прижимали к окошку, — авось свежий воздух приведет его в себя. Так возникла помощь слабым — сначала всего лишь из недовольства молчаливыми наблюдателями, занимавшими место у окна. Но это уже было началом заботы о товарищах.

Постепенно человеческое стадо превращалось в коллектив. В углу вагона оказалось жестяное ведерко, наполненное суррогатным кофе — литров восемь. Тот, кто обнаружил его, не поддался эгоистическому импульсу — поскорее напиться самому. Он сказал:

— Эй, ребята, тут есть кофе. Кому очень хочется пить?

Пить хотелось всем. Поднялся шум, крик, люди задвигались, стали проталкиваться к ведру. Надо было навести порядок.

— Тихо, ребята! — крикнул чех по имени Гонза Шульц. — Послушайте, что я вам скажу!

И хотя никто не знал Гонзу, все обернулись к нему и прислушались. Был у него такой властный голос? Едва ли. Но толпе в этот момент нужно было разумное слово, и Гонза произнес его вовремя.

— Нас много, — продолжал он, — и никто не знает, сколько нам еще ехать и дадут ли нам что-нибудь пожрать. Надо беречь этот кофе. Будем давать его только тем, кто совсем уже не держится на ногах. Но и они должны делать только два глотка.

Сосед положит ему руку на горло и будет считать. Согласны? [170]

Тем, кто уже не рассчитывал ни на одну каплю кофе, предложение Гонзы понравилось.

— Согласны, — загудели они.

Был Гонза умнее других? Неужели никто другой не додумался бы до такого предложения? Едва ли. Просто Гонза вовремя высказал правильную мысль, и с ней все согласились. У коллектива уже были свои глаза у окон, теперь начинал функционировать мозг и другие органы. Мозг решил: по два глотка кофе самым слабым. Органы чувств взялись за выполнение этого приказа. Зрение наблюдало товарищей. «Не держишься на ногах?» И если спрошенный уже терял сознание и, полуоткрыв рот, мог только кивнуть, ему подавали ведро и клали палец на горло. Осознание коллектива считало: «раз, два».

Кто-то даже спросил Зденека, который был очень бледен и до сих пор не произнес ни слова: «Тебе плохо? Хочешь выпить?»

Зденек покачал головой. Он не лез в герои и не намерен был жертвовать собой ради других, но в тот момент действительно не ощущал ни голода, ни жажды.

Мозг коллектива продолжал работать.

— Места у нас мало, всем сразу не сесть на пол, — объявил Гонза Шульц. — Нужно установить смены и чередоваться. Два часа стоять, два часа сидеть. Согласны, ребята?

Кое-кто из тех, кто уже уютно устроился у стены, проворчал:

— Да что ты во все вяжешься! Часов ни у кого нет, как же проверять эти твои смены?

Но большинство согласилось с Гонзой, и ворчуну у стены пришлось смириться.

— Два часа мы будем отмерять на глазок, ничего не поделаешь, — сказал Гонза, оставшийся стоять. — А когда я сяду, назначьте себе старшего из тех, что будут стоять, и пусть он следит за временем.

Почти трое суток громыхал вагон по разрезанным путям Третьей империи, подолгу торчал на небольших товарных станциях, все время под строгой охраной: никто не смел выглянуть в оконце. Во время бесконечного пути возникали тысячи затруднений, но благодаря организованности коллектива все они были преодолены. Главное затруднение было с парашей. Она была одна на [171] девяносто человек, ее приходилось подавать через головы и выплескивать (более или менее удачно) в решетчатое оконце. Для этой цели коллектив выделил «группу специалистов» — выливальщиков, или «метателей», которые немало помогли тому, чтобы люди доехали до Гиглинга живыми и в здравом рассудке. Узники извелись от усталости, жажды и голода, но никто никого не обидел, никто ни на кого не поднял руки.

Жаль, что этот первый коллектив распался, как только отворились двери вагонов. Заключение было слишком изнурено, чтобы и на вокзале Гиглинга сохранить оправдавшую себя внутреннюю организацию. Некоторые сразу же стали искать прежних друзей, попавших в другие вагоны. А потом появился конвой и погнал всю колонну в лагерь. Так вышло, что Гонза Шульц очутился не вместе со Зденеком, а попал в барак номер 15, к совсем незнакомым людям.

Сперва Гонза был такой же отупелый, как все червяки в коробке. Но через несколько дней он стал приходить в себя. Ему не подвезло, как Зденеку, которого счастливый случай вознес в контору. А сам Гонза не предпринимал ничего, чтобы добиться лучшего положения. Петь он не умел, стать штабаком в бараке ему не довелось. Гонза вел себя, как и на родине при «протекторате»: предпочитал физическую работу, делал не больше того, что ему было поручено, и даже меньше, старался сохранить здравый смысл и способность наблюдать окружающее. Он сразу понял, что обстановка здесь совсем не та, что в Терезине, где у заключенных было подобие самоуправления. Там, правда, тоже было голодно, узники постарше мерли, как мухи, но мало кому доводилось отведать эсэсовской плетки. Общие сборы, телесные наказания, казни были там редким явлением. В Терезине действовала подпольная партийная организация, она издавала бюллетень, который распространялся быстро и надежно. Ожидание краха гитлеризма было облегчено регулярной информацией о положении на фронтах и о других важных событиях. Время от времени даже такой рядовой заключенный, как Гонза Шульц, мог принять участие в каком-нибудь добром деле, мог помочь товарищу, оказавшемуся под угрозой. Вообще же Гонза жил, как и все вокруг: играл в карты со своим другом Отой, охотно посещал культурные [172] мероприятия, которые устраивали такие, как Зденек, читал все, что можно было достать. В 1943 году он даже влюбился и женился. Из краденых материалов он соорудил там же, на территории Терезина, крохотное «бунгало». Так среди унижения и лишений ему удалось вырвать себе кусочек счастья.

В сравнении с тем, что пришло потом, такая жизнь была почти идиллией. Было терезинское «бунгало» действительно прекрасно или это только казалось Гонзе, но отправка в Освенцим разом разрушила его идиллию. Плачущие жены остались в Терезине, мужей повезли неведомо куда, и они были рады, что едут одни. Никому не хотелось видеть смерть любимой.

Из поезда в Освенциме Гонза и Ота вышли вместе, держась за руки, и вместе они благополучно прошли первую «селекцию». Но у самого входа в освенцимский «лагерь Е» Ота вдруг отпустил руку товарища и, словно обезумев, метнулся в сторону и бросился на ограду из колючей проволоки, через которую был пропущен ток высокого напряжения. Послышалось шипение, Гонза вскрикнул и закрыл глаза, запах горелого мяса проник ему в ноздри. Шатаясь, он вышел из рядов. Эсэсовец, конвоировавший колонну, подбежал и взмахнул прикладом над головой Гонзы. Руки товарищей ухватили Гонзу и втянули его обратно в шеренгу. Приклад лишь скользнул по плечу и разорвал рукав.

Жизнь в Освенциме Гонза начал в каком-то ошеломлении. Почему так поступил Ота? Казалось, с ним все было в порядке, он никогда и словечком не выдал намерения покончить с собой. Ота любил живопись и всегда носил в кармане большую репродукцию «Подсолнечников» Ван-Гога, разрезанную на дольки и наклеенную на коленкор, наподобие складной карты. Больше всего он любил солнце и желтый цвет. И вот, в первую же ночь, еще даже не познав всех ужасов Освенцима, он капитулировал.

Гонза твердо решил не кончать жизнь, как Ота. Он переживет Гитлера и увидит приход Красной Армии, которая, как он догадывался, уже близко! Еще дважды пришлось ему, стиснув зубы, пройти на «селекции» перед эсэсовским врачом Менгелем. Гонза шел нагой, глядя в серое небо поверх гитлеровского убийцы, не

прося его взглядом, как делали многие, не выключившая жизнь. [173] Гонза выпятил грудь, зная, что он еще достаточно силен, что он пройдет, должен пройти...

Ночевки на бетонном полу, «обувной кризис» Гонза пережил, как и Зденек. Когда их наголо обрили и кто-то из товарищей пошутил, что они теперь похожи на типажи из уголовного альбома, Гонза смеялся вместе со всеми. И в самом деле, нацисты отлично знают, что мы их злейшие враги, что мы с нетерпением ждем их краха и готовы сделать все, чтобы ускорить его. Они считают нас преступниками и соответственно обращаются с нами. Ничего удивительного.

Гонза осторожно посоветовался с товарищами: нельзя ли предпринять что-нибудь? Ходили слухи, что недавно был бунт и что тотенкоманда взорвала один из крематориев; во время возникшей при этом паники бежало несколько заключенных.

Сейчас фронт уже близко. Вот если бы нам удалось вырваться за ограду... Тысячи узников, наверное, погибли бы при этом, но тысячи спаслись бы и добрались до русских, попросили бы у них оружие и помогли бы им стереть с лица земли гнусный лагерь! С горящими глазами Гонза говорил об этом с товарищами. Он забыл о «бунгало» в терезинском гетто, забыл о жене, которая там осталась. Но он не мог забыть запаха горелого мяса, и ему хотелось убивать и убивать эсэсовцев...

Но этим замыслом не суждено было осуществиться. Через несколько дней узников согнали для последней «селекции», а потом сразу же погнали в вагоны. Гонза очутился среди незнакомых людей, среди испуганного человеческого стада, попавшего в вагон для скота. Он мечтал силой вырваться из Освенцима, и вот нацисты сами увозят его отсюда. Гонза стиснул зубы и улыбнулся: «И это неплохо. Наверняка нас повезут на запад, потому что с востока жмут русские. В самой Германии нет таких лагерей, как освенцимский ад. Может быть, теперь сбежать будет легче. Посмотрим...»

Наблюдатели у окошек объявили Крнов. Сердца чехов усиленно забились: мы едем на родину! Но поезд шел все на юг и на юг, миновал Оломоуц, пересек Моравию... Вот и Вена. Состав долго мыкался около разбомбленных вокзалов. Выбраться из запертого вагона не было никакой возможности, а выжить в нем было [174] нелегко. Голыми руками дверь не выломаешь, решетки на окнах обвиты колючей проволокой, их не сорвешь. Едва поезд останавливался, эсэсовцы выбегали из сторожевых будок и обходили вагоны. Однажды они выстрелили прямо в оконце. Пуля попала в потолок, никого не поранив, но с тех пор наблюдатели пригибались, как только поезд замедлял ход.

Поезд тащился в долине Дуная по направлению к Линцу. Настроение узников резко упало. «Похоже, что нас везут в Маутхаузен», — говорили знатоки. А это название звучало почти так же зловеще, как Освенцим. Каменоломня, пресловутая лестница в скале, эсэсовцы с плетками предлагают заключенным: «Кто хочет, может прыгнуть со скалы». Старожилы лагерей знали «профиль» каждого лагеря: Маутхаузен был одним из худших.

В поезде узники вновь сплотились в коллектив, и у Гонзы появились новые обязанности. На мысли о собственных делах, на опасения почти не оставалось времени. Он стал признанным вожаком вагона, распределял смены стоящих и сидящих, регулировал передачу параши и ведерка с кофе, теряющим сознание обеспечивал место у окошка, следил за тем, чтобы наблюдатели не ленились

сообщать о том, что видят.

Так они дождались вести, что страшный для всех Маутхаузен уже остался позади. Поезд тащился на запад, все на запад и наконец очутился в Баварии. Среди многих догадок была и такая: а может быть, Дахау? У Дахау была сносная репутация. Некоторые узники продолжали надеяться, что их вообще везут не в концлагерь. А что, если нас поставят где-нибудь на работу? На заводе, на стройке или на уборке развалин?

— Тогда будет легко удрать, — смеялся Гонза, хотя настолько ослаб, что с трудом мог закрыть рот.

Они были уже третью ночь в пути, и спать ему довелось меньше других. Ведерко давно опустело, а Гонза так и не глотнул из него.

Мюнхен. Охрипшие наблюдатели сообщили, что весь город в развалинах. Падавшие в обморок узники тяжело наваливались на своих соседей. Третья ночь была самой трудной. Самой трудной и самой нескончаемой.

Наконец поезд остановился. Двери с грохотом распахнулись, в вагон ворвался холодный воздух, стало [175] видно мерцание ярких звезд на альпийском небе. Живой груз из вагонов высыпал на товарную платформу. Гонза был в самой гуще толпы. Никто не обращал на него внимания, он перестал быть вожаком, не должен был заботиться о других и сохранять в общих интересах спокойствие и выдержку. И он повалился на землю, на минуту потеряв сознание.

Но в то утро, когда в Гиглинг прибыли венгерские девушки и арбейтдинст Фредо, обходя бараки, вербовал добровольцев на стройку, Гонза Шульц снова стал вожаком в пятнадцатом бараке. Поэтому он заговорил с Фредо.

— На какую работу вы нас вербуете? — спросил он.

— Я вот пришел без палки, с голыми руками, — усмехнулся Фредо, взглянув на невысокого парня, лицо которого было сильно изборождено морщинами. — Это лучше, чем если бы сюда ворвались капо с палками или эсэсовцы. В воскресенье приедет новая партия. Если мы вовремя не построим новые бараки, тысяче с лишним человек придется спать на снегу.

Гонза, сунув руки в карманы, хмуро глядел на Фредо.

— Стоял бы ты так передо мной, если бы я размахивал палкой? — спросил его грек.

— Не знаю, — ответил тот. — Но дело не в том, как бы я поступил под принуждением. Вы ведь спрашиваете, пойдём ли мы добровольно.

Фредо тоже заговорил серьезно.

— Может быть, я зря вспомнил о палке. Должен напомнить, что эсэсовцы сказали: не пойдёте добровольно, погоним плетками. Вот и выбирайте. Требуя от нас другую работу, я не пришел бы звать вас. Но строить бараки в нашем же лагере, на это, я думаю, мы можем согласиться.

Гонза взглянул ему в глаза и покачал головой.

— Добровольно строить концлагерь я не буду. Сегодня ночью в нашем бараке умерли двое. Только после одного из них остались ботинки, а у нас еще трое босых. Если так будет и дальше, мы подохнем — и в бараках, и без бараков. Из

пятнадцатого добровольно не пойдет никто.

У Фредо не была времени на долгие споры. Если в каждом из тридцати барачков проторчать столько, сколько [176] здесь, земляные работы не начнешь и в полдень. В других местах люди соглашались охотно, здесь был первый случай, когда кто-то из заключенных от имени всего барака сказал «нет».

— Ладно. А это в самом деле общее мнение?

Фредо обвел взглядом лица «мусульман» и на многих из них увидел нерешительность и даже несогласие с безаллеяционными словами Гонзы.

— Ты ведь пойдешь? — сказал грек парню справа, который стоял, опустив голову.

— И ты тоже! — кивнул он другому. — Если из вашего барака придет пять-шесть крепких, хорошо обутих людей, этого хватит. Мы работаем посменно, за вашей бригадой я зайду через полчаса. Salud!

Он повернулся, хлопнул по плечу Гонзу, который все еще стоял, сунув руки в карманы, и вышел. В блокноте он записал: «Номер 15 — пять-шесть человек», — улыбнулся и добавил: «И один молодчина».

* * *

Доктор Имре сдал выломанные зубы, и Диего со своей тотонкомандой, погрузив на тележку десять трупов, выкатил ее за ворота лагеря. Гастон раздал заключенным лопаты и мотыги. Проминенты, на этот раз преимущественно греки, возглавили строительные работы. Прежде всего надо найти под снегом колышки, которыми обозначены углы будущего барака, натянуть между ними бечевку и вырыть семь рвов.

Блоковый, поляк Тадек, подошел к Фредо.

— Сегодняшняя работа вправду добровольная?

— Да. А почему ты спрашиваешь?

— Ты ведь знаешь, как было дело в моем бараке. Тот чех все еще агитирует, чтобы никто не шел, даже пять человек, которые тебе от нас нужны.

— Ну, а ты что? — допытывался Фредо.

— Я не стал вмешиваться, ты же сам видел. Не знаю, как другие блоковые, а я решил: работа — дело арбейтдинста, я к этому не касаюсь.

— Пожалуй, ты прав, — сказал Фредо. — Есть, правда, и такие блоковые, что вмешивались, и очень круто. Но еще не было случая, чтобы кто-нибудь так упрявился, как этот твой бунтарь.

— Доложишь начальству? — осведомился Тадек. [177]

— Зачем же? Мне этот парень нравится. Людей на стройке хватает, но все-таки надо, чтобы из вашего барака кто-нибудь пришел, а то пойдут разговоры, что вы бастуете. Понял?

Из пятнадцатого барака в конце концов явилось на работу шестеро. Гонзы среди них не было. Но Фредо вечером зашел к нему, и они долго беседовали.

3.

Фамилия надзирательницы была Россхейптель, что по-немецки значит «лошадиная

головка». Но эсэсовцы сочли, что эта уменьшительная форма здесь ни к чему, и звали ее просто Россхаупт (Кобылья Голова).

Это была рослая, кряжистая баба, даже с женскими формами — и бюст, и бока. Редкие рыжеватые волосы скручены на макушке узлом, веснушчатые ручищи совсем как мужские, а обувь она носила сорок четвертый размер. Зычный голос Россхауптихи утратил на дворах тюрем и концлагерей последние остатки женственности.

Никто не удивился, что ее прислали распоряжаться всеми четырьмя женскими лагерями сразу. Напористая эсэсовка любила свое дело и держала в ежовых рукавицах не только узников и подчиненных, но и себя: была неутомима, не отдыхала даже по воскресеньям, не брала отпуска. Говаривали, что единственный предмет мужского рода, который разделяет с ней ложе, это будильник, поставленный на полпятого утра.

Ворвавшись в жарко натопленный кабинет Копица, она, не говоря ни слова, распахнула окно, потом подвинула стул к стене, влезла на него и поправила портрет Гитлера, который, по ее мнению, висел криво. Копиц поспешно натянул спущенные подтяжки и, ища руками рукава френча, ногами старался попасть в ботинки, брошенные где-то под столом.

— Х-хей-тлер! — пробормотал он. — Меня информировали, что вы придете днем, а сейчас еще нет одиннадцати...

— Ну и что же? — Россхауптиха уперлась руками в бока. — Вас, наверное, кроме того, информировали, как я выгляжу и какой у меня размер обуви. Не отпирайтесь, знаю я наших коллег. Мне говорили, что в «Гиглинге 5» я провожусь не меньше шести часов, а я управилась за [178] четыре. Вот почему я здесь на два часа раньше, а вы можете сделать из этого вывод, чего стоит ваша информация.

Копиц решил, что не даст этой мегере припереть себя. Он встал, вытянулся в струнку и произнес:

— Рапортфюрер Копиц. С кем имею честь?

Щелки ее глаз, обрамленные желтоватыми ресницами, сузились.

— Вы, видно, любите всякие церемонии. А я нет. Вот, прочтите, кто я такая, а потом зашнуруйте ботинки — и пошли в лагерь.

Копиц, однако, остался невозмутим, уверенный, что именно таким образом одержит верх. Он взял пакет, осмотрел его со всех сторон — в целости ли печати, — вынул из кармана нож, которым обычно резал колбасу, раскрыл его и острием вскрыл конверт, подул в него, чтобы удобнее было извлечь сложенный листок, внимательно заглянул в конверт, нет ли там еще чего-нибудь, потом закрыл нож, неторопливо убрал его в карман и разложил на столе удостоверение надзирательницы СС Россхейптель. Копиц разглядел его ладонью и, прежде чем начать читать, поднял глаза и насмешливо поглядел на энергичную обладательницу этого документа. Мол, понятно? Россхаупт не сводила глаз с его лысины.

— Надо полагать, в вашем лагере все в образцовом порядке, — сказала она ледяным тоном. — Иначе вы не были бы столь уверены в себе. Ваши коллеги чувствуют себя со мной куда беспокойнее. Обычно они опасаются, что я могу обнаружить какие-нибудь непорядки и доложить об этом начальству. Поэтому они

во всем идут мне навстречу и, уж конечно, не рискуют дразнить меня.

Копиц усмехнулся.

— Но вас, конечно, не задобришь. Ведь вы образцовый член партии и, если обнаружите непорядки, доложите о них, все равно, симпатичен вам данный рапортфюрер или нет. Не так ли?

— Разумеется, доложу, — был ответ. Лицо надзирательницы побагровело.

— Вот и отлично, — сказал Копиц, встал и, поставив ногу на стул, начал зашнуровывать ботинки, обратив к Россхауптихе туго обтянутый брюками зад. — Извините, я делаю как раз то, что вы сами мне посоветовали. [179]

Надзирательница отвернулась и с оскорбленным видом уставилась на портрет фюрера. А Копиц крикнул, поднял другую ногу и подумал с удовлетворением: «Один-ноль в мою пользу!»

* * *

Зато над Лейтхольдом новой надзирательнице удалось натешиться вдоволь. Когда он явился по вызову Копица, она сразу поняла, что из этого калеки можно веревки вить. Бедняге кухеншефу пришлось отдуваться за все унижения, которые Россхаупт снесла от Копица.

— Марш! — сказала она. — Ведите меня в женский лагерь!

Долговязый Лейтхольд и крутобокая надзирательница покинули комендатуру, а Копиц снова уселся за стол. Настроение у него заметно улучшилось. Все же он на всякий случай позвонил в пятый лагерь и сказал тамошнему рапортфюреру, что в дальнейшем надо предупреждать друг друга о выезде Россхауптихи. О том же он договорился с двумя другими лагерями.

В лагере тем временем прозвучала команда «Achtung!» Писарь выбежал из конторы и отбарабанил свой рапорт:

— В женском отделении семьдесят девять заключенных, выбыла одна, причина — смерть, сегодня ночью, в бараке.

Россхаупт кисло взглянула на круглую физиономию писаря.

— Вы еще не выбрали для меня секретаршу? — спросила она Лейтхольда. — Этот писарь мне не годится, у него блудливые глаза.

Эрих замигал из-под стальных очков. Ему отнюдь не казалось, что можно блудливо смотреть на эту мужиковатую бабу. Но он промолчал.

— Мы ожидали вас, фрау надзирательница, — сказал Лейтхольд, — и не хотели выбирать секретаршу без вашего согласия. В женском лагере пока побывали только врач и капо тотенкоманды, унесший труп.

— Врач? — Россхаупт подняла желтые брови. — Вызвать его сюда!

Писарь повернулся и крикнул в сторону барачков:

— Frauenarzt! <Здесь: «Врач женского лагеря!» (нем.)> [180]

«Frauenarzt!» — передавалось из уст в уста.

— Откройте калитку, — приказала надзирательница.

Лейтхольд шелкнул каблуками — «Jawohl!» — и заковылял к калитке. Отперев ее, он обратился к Россхаупт.

— Разрешите?

— Разрешаю, — величественно произнесла она и вошла на территорию женского лагеря. — Дождитесь здесь врача и приведите его ко мне. Да не забудьте запереть калитку.

— Может быть, мне самому нет надобности... — заикнулся Лейтхольд.

В глазах надзирательницы мелькнула насмешка.

— А почему нет? Бойтесь женщин?

Лейтхольд смотрел прямо перед собой.

— Не знаю, что вы имеете в виду. В лагере существуют только номера.

«Ах вот ты какой! — подумала надзирательница. — Но меня ты не проведешь, я тебя вижу насквозь».

— Делайте, как я сказала! — резюмировала она и исчезла в ближайшем бараке. Послышался возглас «Achtung!» и какой-то шум. Россхаупт вынырнула из барака красная, как индюк.

— Эти свиньи все еще дрыхнут! — закричала она. — В четверть двенадцатого!

Кюхеншеф пожал плечами:

— Герр рапортфюрер приказал дать им отдохнуть с дороги, а днем вы должны были провести...

— Я сама знаю, что мне делать, — отрезала она. — Это кто такой?

К калитке торопливо подошел Шими-бачи. Он вытянулся в струнку рядом с писарем, выкрикнул свой номер и прибавил:

— Revierältester des Frauenlagers <Врач женского лагеря (нем.)>.

Россхауптиха покосилась на его седины.

— А нет ли тут доктора постарше?

Лейтхольд робко покачал головой.

— Вы мне отвечаете за него, — сказала эсэсовка. — Поскольку кругом мужчины и сквозь ограду все видно, осмотр нельзя делать под открытым небом.

— Да к тому же и снег... — прошептал Лейтхольд.

Россхаупт бросила на него недовольный взгляд. [181] — Не перебивайте! В бараках есть только проход посредине, там тоже неудобно. А как контора? Там больше места?

— Jawohl, — прохрипел писарь.

— Убирайся, развратник, а не то... — Надзирательница замахнулась рукой. — Проводите меня в контору.

Лейтхольд запер калитку и побежал к конторе. Там за столом сидели Зденек и Хорст. Один приводил в порядок картотеку, другой изготавливал нарукавные повязки. Хорст вскочил, четко отрапортовал. Россхаупт почти ласково взглянула на

него, впервые за весь день.

— Немец, — сказала она, — служил в армии?

— Обер-ефрейтором! Награжден железным крестом, осмелюсь доложить!

— Хорошо, — кивнула она. — Но ты слишком смазлив, тебя нельзя здесь оставить. Выйди и возьми с собой этого задрипанного писаря. Из заключенных здесь останется только так называемый доктор. Стол отодвиньте подальше к стене, эту скамейку вынесите, и начнем. Вы, — продолжала она, обращаясь к Лейтхольду, — сядете рядом со мной и будете записывать. Но прежде сходите в женский лагерь и приведите первую группу. Двадцать человек.

У Лейтхольда голова шла кругом. Когда он впервые вошел в женский барак, его ошеломил оглушительный крик, гомон, стук деревянных башмаков. У дверей его встретила черноглазая девушка и, став «смирно», крикнула:

— Achtung!

Воцарилась тишина. Девушки в синевато-серых платьях и платочках стояли в проходе у нар и все как одна глядели на покрасневшую правую щеку Лейтхольда. Левая щека эсэсовца осталась белой, и глаз над ней язвительно смотрел в пустоту. Девушка, крикнувшая «Achtung!», сразу смекнула, что тощему эсэсовцу не по себе в присутствии стольких женщин. Глаза у нее сверкнули, она выпятила грудь и отрапортовала:

— Тридцать девять венгерок, битташон!

Это совсем неофициальное «битташон»^{11} она прошептала так, что Лейтхольду сразу вспомнились веселые фильмы с Марикой Рокк, и он сделал шаг назад, [182] словно опасаясь, что грудь этой девушки коснется его мундира. От внимания женщин не ускользнуло это невольное движение. Самые молоденькие закусили губу, чтобы не прыснуть. «Ай да Юлишка! — думали они. — Ну и bestия!»

— Вы здесь блоковая? — спросил Лейтхольд. — Отделите двадцать человек и приведите их к калитке.

Он повернулся и зашагал прочь. Отперев калитку, он пропустил группу, которая, стуча башмаками, последовала за ним, опять запер замок и повел девушек в контору. Там он вздохнул с облегчением: командование приняла Россхаупт.

— Все в глубину комнаты, за занавеску, и раздеться! — гаркнула она, как на плацу.

— А вы приготовьте документы, — был приказ Лейтхольду.

Девушки в деревянных башмаках исчезли за занавеской. Лейтхольд несмело нагнулся к надзирательнице.

— В подобном осмотре, я полагаю, нет надобности. У нас есть медицинское заключение из Освенцима. Там их тщательно осматривали...

Россхауптиха смерила его уничтожающим взглядом.

— А вы бывали когда-нибудь в Освенциме? Нет. Так не вмешивайтесь! Там у них массовое предприятие, а мы отбираем индивидуально. Будем определять, кого послать на кухню эсэс, кого уборщицами в казарму охраны. Хотите, чтобы какая-нибудь из них занесла вам туда вшей, чесотку или еще что-нибудь похуже?

В щели между двумя одеялами, придерживаемыми невидимыми руками, появилась

круглая головка Юлишки.

— Белье можно не снимать, битташон? — спросила она.

Но на Россхауптиху ее опереточное щебетание не подействовало.

— Заткнись, безмозглая свинья! Сказано — раздеться, значит, должно быть ясно! А главное, скинь платок с башки, посмотрим, сколько у тебя вшей.

За занавеской было тесно. Двадцать девушек столпились около четырех коек и зубоврачебного кресла. Они расшнуровывали деревянные башмаки, снимали платочки со стриженных голов, сбрасывали платья из синевато-серой саржи и оставались в ветхих тельняшках и безобразных шароварах. Но и это пришлось снять. В который [183] уже раз? Опять, что ли, «селекция»? Или что-нибудь похуже?

В Освенциме женщины подвергались таким же осмотрам, как и мужчины, они по многу раз проходили нагими перед эсэсовским врачом Менгелем, и наконец из многих тысяч женщин — старух, матерей, сестер — была отобрана лишь эта горсточка самых крепких девушек. В душевое помещение, где парикмахеры из заключенных снимали им волосы, беззастенчиво входили эсэсовцы, помахивали стеками, щеголяли начищенными сапогами, указывали на «лучшие экземпляры», говорили гадости.

Иной раз целые толпы белотелых и смуглых девушек, выгнанных нагими из бани, оставались во дворе, огражденном колючей проволокой, и расхаживали там, будто это было самым привычным делом. Во дворе была грязь, с серого осеннего неба моросил дождь, а они стояли, переминаясь с ноги на ногу.

Сперва они часто плакали, вспоминая матерей, которые при «селекции» попали «на плохую сторону», вспоминая бабушек и сестер, а некоторые — детей. Они оплакивали себя, свои остриженные волосы, свой поруганный стыд, свое тело, измученное стужей и дождем. Но прошло время, и они свыклись с этим зоологическим бытом. И, если мимо проходили эсэсовцы, отпуская гнусные шуточки, женщинам было все равно. Ну и пусть! Только Юлишка иногда повторяла слышанное: «Это же кобылицы, а не девушки, черт подери!» И от этой странной похвалы в глазах ее вспыхивала гордость.

Девушкам выдали безобразное белье, платья до колен, деревянные башмаки на босу ногу, головные платки, а в последний день даже тесные детские зимние пальто, оставшиеся от малолетних жертв крематория. Потом их загнали в вагоны — и начался бесконечный переезд. Здесь тоже сложился коллектив, восемьдесят девушек привыкли слушаться своих вожаков — решительную, смелую Юлишку, серьезную, рассудительную Илону, набожную Магду, самую старшую из всех. На станцию Гиглинг их вагон прибыл отдельно, и потому коллектив не распался. Сообща они тронулись в путь. Все они были молоды, все были соотечественницы, ехали они не в такой тесноте, как мужчины, больная оказалась только одна. И, так как женщины вообще легче переносят лишения (хотя мужчины никогда не верят этому), они даже запели на ходу. [184]

В поезде мужчины волновались: их пугала перспектива Маутхаузена, Дахау и прочее. Женщины плакали лишь по одной причине: Магда уверяла, что нацисты отправляют их в рабочие лагеря и поместят там в дом терпимости. Она твердо решила в этом случае покончить с собой. Шестеро заплаканных подруг все время

жались к Магде, молились, обнимались и бесконечно клялись друг другу, что последуют ее примеру. Илоне стоило немалых усилий побороть это истерическое настроение, которое чуть не охватило весь вагон. Но вместе с тем ее раздражал вызывающий смех Юлишки, которая называла Магду святошей и уверяла подруг, что в проститутки их не возьмут, потому что они не так уж хороши собой.

Когда сегодня утром в женский барак вошел первый мужчина, да еще соотечественник, доктор Шими-бачи, девушки набросились на него: «Что мы тут будем делать? Это не дом терпимости?» Доктор улыбнулся и успокоил их:

— Нет, не бойтесь. Вам тут будет хорошо. Говорят, вы будете работать на кухне, это ведь самая лучшая работа!

Потом он осмотрел труп девушки, умершей ночью. Инцидент с капо тотенкоманды тоже, как ни странно, в известной мере успокоил девушек. И хотя для них стало уже привычным показываться в лагере раздетыми донага на глазах мужчин, они никак не могли примириться с тем, что их маленькая подруга будет похоронена обнаженной. Поступок Диего произвел на них глубокое впечатление. «Какой смельчак!» — вздохнула одна из девушек, выражая мысли и чувства остальных. Легкость и нежность, с какой испанец поднял и понес мертвое тело, тоже повлияли на их воображение. Менее страшной показалась смерть. Если тебя похоронят не нагой и если к могиле тебя понесет этот человек, то, может быть, смерть не так уж ужасна...

Потом их напугал крик Россхауптихи, вызов в контору и приказание раздеться. Ведь газовых камер тут нет — так по крайней мере их уверял Шими-бачи, — зачем же осмотр?

— Готовы? — крикнула надзирательница. — Первые три, выходите!

За занавеской началась возня. Девушки подталкивали друг друга, никому не хотелось быть первой. [185]

— Дуры! — прошипела Юлишка и раздвинула занавеску. — Эржика, Беа, сюда! Пошли!

Россхаупт бросила беглый взгляд на три фигуры, потом обратилась к Лейтхольду:

— Пишите и не очень заглядывайтесь!

— Я вообще не гляжу, — прошептал тот и опустил голову.

Юлишка, слышавшая этот обмен репликами, тихо хихикнула.

— Куш! — прикрикнула на нее надзирательница. — Как тебя зовут?

— Юлишка Гадор, битташон!

— Здорова? — обратилась Россхаупт к Шими-бачи, который стоял рядом. Врач улыбнулся, чтобы подбодрить девушек, и громко сказал:

— Вполне. Это сразу видно.

— По-моему, даже слишком, — строго сказала надзирательница. — Таковую нахапку я не выпущу из лагеря. Но в кухне для заключенных можно сделать ее старшей. Возьмете ее?

Лейтхольду пришлось отвечать.

— Могу взять, — робко сказал он. — Мне все равно.

Россхаупт что-то вспомнила.

— Для вас она ведь только номер, а? Так поглядите же на этот номер... Ну-ка!

Она взяла его за подбородок и заставила поднять голову.

Лейтхольду ничего не оставалось, как взглянуть на Юлишку, которая стояла перед ним ослепительно белокожая, стройная, как статуэтка.

— Хватит! Запишите: Гадор, старшая в лагерной кухне. Следующая. Как фамилия?

* * *

Через полтора часа все семьдесят девять девушек были распределены. Самых некрасивых назначили уборщицами в казармах и кухне эсэсовцев. Старшей над ними надзирательница определила «святошу» Магду. При всей своей свирепости Россхауптиха, видимо, умела разбираться в людях. Затем она спросила девушек, кто у них до сих пор был за старшую. Ей показали на [186] Илону.

Надзирательница внимательно оглядела ее — перед ней стояла серьезная, спокойная девушка.

— Ладно, — сказала она. — Пусть будет старостой.

Под конец Россхауптиха выбрала самую изящную и маленькую девушку себе в секретарши: это была смуглая шестнадцатилетняя Иолан, почти еще девочка. Она будет писарем женского лагеря.

Уходя вместе с Лейтхольдом в комендатуру, Россхаупт была в приподнятом настроении. Взяв тонкорукого эсэсовца за локоть, она сказала:

— Самых бедовых я подсунула тебе в лагерную кухню. Что, молодец я? — И, ехидно подмигнув бледному одноглазому коллеге, заключила: — Жаль, что ты не оценишь этого! Ведь для тебя существуют только номера, а?

4.

Оживленно было и в мужском лагере. Снегопад наконец прекратился, и работа на стройке шла так, словно вокруг не было ни колючей проволоки, ни сторожевых вышек с пулеметами.

Фредо организовал смены. Каждого из своих верных помощников он знал по имени, с каждым обменялся парой дружеских слов. Как только тотенкоманда вернулась из первой поездки, разгрузочная команда отобрала у нее тележку и направилась к складу у ворот. Готовые части бараков поплыли по лагерной улице; крупные треугольные фасадные блоки покачивались, как темные паруса. Хлеб уже давно был сложен в кладовой, Зепп и Фриц довольно поглаживали животы: фрау Вирт угостила их сегодня особенно щедрым завтраком — каждый получил по котлете.

Куда труднее пришлось Зденеку. Перевести больных со всего лагеря в два барака, а здоровых людей на освободившиеся места оказалось нелегкой задачей. В бараках сразу же поднимался крик, причитания, ослабевшие мужчины жалобно плакали. Этот плач терзал слух Зденека, и сердце его наполнялось стыдом. Ведь все это взрослые мужчины, отцы семейств, люди, привыкшие самостоятельно работать и устраивать свою жизнь, умевшие думать и решать сам». А теперь многие из них хныкали, как обиженные дети, размазывая [187] по щекам слезы. Они жаловались,

молили не трогать их и всячески упирались. Некоторым казалось, что попасть в лазарет — значит наверняка не выжить. Они вообще боялись всяких перемен, боялись расстаться со своим баракком, кричали, что никуда не пойдут без своего товарища или брата, хватали Зденека за полы, обнимали его ноги, целовали руки. «Герр доктор, умоляю, дайте мне умереть здесь?»

Сначала Зденек терпеливо разъяснял:

— Это для вашей же пользы. А я не доктор, и хватит дурить!

Не прошло и часа, как он поймал себя на том, что сострадание и стыд сменяются в нем каким-то тупым безразличием. Он уже почти ненавидел этих людей.

— Да отстаньте же вы, упрямые тупицы! Не понимаете, что ли... — Потом его охватила брезгливость. — Пустите, черт возьми, не трогайте меня! Перебирайтесь — и баста! — И наконец он с ужасом заметил, что у него сжимаются кулаки и ему хочется нанести удар по одному из плаксивых лиц, которые жмутся у его ног. — Я не могу больше! — испуганно воскликнул он, заставив себя разжать кулаки, и поднял руки над головой. — Пустите меня, иначе... — И он отступил, вырвавшись из обхвативших его рук, он попытался к двери, выскочил и убежал в лазарет.

— Помогите мне, прошу вас! Я не умею обращаться с больными, я не справлюсь один...

И Зденеку помогли. Врачи отправились в барак. Хмурый Оскар, сверкая глазами и упрямо выставляя подбородок, Шими-бачи, затыкавший себе уши, маленький Рач, который без устали все объяснял и разъяснял, размашистый здоровяк Антонеску и Имре со своей тросточкой, ею он иногда ударял по рукам «мусульманина», хватавшего его за брюки. Прошло не меньше часа, пока они навели порядок.

Из четырнадцатого барака в лазарет отправили Феликса и трех других тяжелобольных. Феликс уже еле двигался, стал легким, как перышко, и не возражал против перевода в лазарет. Сломанная челюсть не заживала, жидкой пищи было мало, жизнь Феликса висела на волоске.

— Неужели ему нельзя помочь? — приставал Зденек к врачам. — Сделайте же что-нибудь! [188]

Оскар сидел у окна. Он только что вернулся с обхода больных, видел столько грязи и отчаяния, выслушал столько плача и жалоб, что устал смертельно.

— Феликс умрет, — сказал он Зденеку. — Сделать ничего нельзя. Разве что, если Имре...

Имре Рач сидел напротив. После неприятного общения с больными он тщательно умылся и даже вызвал проминентского парикмахера Янкеля, чтобы побриться и не походить на противных хнычущих «мусульман». Янкель как раз намыливал ему щеки.

— Ты о чем, Оскар? — спросил Рач.

Оскар встал, озаренный счастливой мыслью, его голос зазвучал бодрее.

— Слушай-ка, Имре, ты ведь дантист, рука у тебя верная. Что, если бы ты скрепил Феликсу челюсть?

Рослый Рач отодвинул парикмахера, который прислушивался, разинув рот.

— Ты это всерьез, Оскар? Как ты представляешь себе такую операцию?

Оскар выпятил свой упрямый подбородок.

— Другой возможности нет. Просверлишь ему отверстия с обеих сторон челюсти, просунешь проволоку и скрепишь. Сделать это надо сегодня же, пока он не ослаб еще больше.

Дантист иронически кивал головой. Заметив, что Янкель в ужасе уставился на него, он улыбнулся.

— Ты тоже не понимаешь этого, Янкель? Живому человеку разрезать без наркоза лицо, просверлить челюстную кость, скрепить ее проволокой, как какую-нибудь посудину, и все это вот этими руками, которыми я лазил во рты трупов... Без операционной, без кусочка чистой ваты, без элементарнейшей асептики. Не лучше ли просто перерезать ему горло бритвой? По крайней мере легкая смерть.

— Ты должен это сделать, — сказал Оскар. — Риск очень велик, но выбора нет. Дней через десять он все равно умрет от голода...

— Умрет их еще немало, — проворчал Имре и кивнул парикмахеру, чтобы тот продолжал бритье. — Если каждого перед смертью мучать операцией...

Наступила минутная пауза. Потом осмелел Зденек.

— Я тоже прошу вас, доктор. Ведь это не обычный случай, вы сами знаете, сколько о нем разговоров. [189] Писарь Эрих обещал провести расследование и сказал, что капо, изувечивший Феликса, будет наказан. Сейчас есть возможность показать всем негодяям в лагере, что мы бережем человеческую жизнь и не жалеем усилий, чтобы исправить то, что совершил один из них...

Имре усмехнулся.

— Чудак ты, однако. Можешь час ораторствовать о сломанной челюсти. — Он опять отстранил парикмахера и уставился на Зденека с таким же задумчивым выражением лица, как сегодня в мертвецкой. «Ишь, каков он, этот задрипанный, стеснительный чех. К маленькой покойнице, прикрытой бумажными мешками, отнесся так рыцарски...»

— Феликс — твой соотечественник? — медленно спросил Имре.

Зденек подтвердил, и на намыленной физиономии военного дантиста появилась добродушная улыбка.

— Знаешь что, я попробую. Но, если я сгублю твоего приятеля, виноват будешь ты.

* * *

Цирюльник Янкель, пожилой, седоватый еврей с большим, вечно простуженным носом, вышел из лазарета. Под мышкой он нес все свои принадлежности: кусок жести, заменявший зеркало, и ящик, служивший сиденьем для клиентов и одновременно хранилищем мыла, кисточки и бритвы. Янкеля тяготило то, что он услышал в лазарете. В собственной челюсти, в собственном горле он чувствовал всю боль, которую придется перенести «мусульманину» Феликсу. Лично он никогда не видел пострадавшего — и не хотел видеть, — но он знал эту историю. Больше того: он знал, к сожалению, слишком хорошо знал, кто изувечил Феликса.

Несколько дней назад, рано утром, когда прибыла новая партия заключенных,

Янкель брил в немецком бараке одного из капо, который только что вернулся из клозета и сердито жаловался на навязчивого «мусульманина»:

— Ну, я ему влепил по морде, — похвастался он. — Да так, что даже часовой на вышке чуть не лопнул от смеха и закричал: «Ого, здорово!»

Янкелю тогда пришлось поднять бритву и подождать, пока капо кончит смеяться.
[190]

Целый день потом в лагере шепотком говорили о сломанной челюсти и возможном расследовании. Янкель ходил тише воды, ниже травы, чтобы капо не вспомнил, что парикмахер все знает. Маленький Янкель стал еще меньше, и еще ниже опустился его большой нос, словно эта тайна висела на нем тяжелым грузом.

Сейчас Янкеля снова забрало. Он никак не мог отделаться от мысли, что этот зверь все еще свободно ходит по лагерю, а он, Янкель, не смеет донести на него. Потом ему мерещилась сломанная челюсть и окровавленные пальцы врача, скрепляющие ее ржавой проволокой. Янкель тряхнул головой, стараясь избавиться от этих навязчивых образов. И вдруг...

Маленький Рач и его друг Антонеску возвращались от больных и были уже у дверей лазарета, когда парикмахер выбежал оттуда. Глаза у него были мутные, остекленевшие. Рача и Антонеску он даже не заметил и, двигаясь, как кукла, пошел по левой стороне прохода между бараками, потом резко свернул и стал переходить на другую сторону. Вдруг его инструменты посыпались в снег: сперва блеснуло «зеркальце», затем из приоткрывшегося ящичка выпало мыло, кисточка, бритва, а там и ящик со стуком упал на землю. Потом сам Янкель, шагавший, как на глиняных ногах, повалился ничком.

В мгновение ока оба врача были возле него. Янкель бился в судорогах, на губах у него выступила пена. Очнулся он только в своем бараке, на нарах, и увидел над собой лица врачей. Страшная мысль овладела Янкелем: а не назвал ли он во время припадка имя капо, который изувечил Феликса? Парикмахер содрогнулся от страха — ведь всеильный капо этого не простит — и стал упрашивать недоумевающих врачей забыть все, что он, Янкель, быть может, говорил в припадке. Это у него уже не первый случай, и если он в такие минуты что-нибудь болтает, то это совсем не соответствует действительности. А припадки эти, твердил парикмахер, случаются с ним только потому, что внутри у него сидит глист, который иногда вылезает в самое горло и душит Янкеля.

Вернувшись в лазарет, маленький Рач рассказал о происшествии.

— Янкель — эпилептик, знаете вы об этом? Ему опасно давать в руки бритву. Надо подыскать другого парикмахера. [191]

Рач большой слегка побледнел, вспомнив, что ошалелые глаза Янкеля еще несколько минут назад глядели на его собственное намыленное горло. Потом он провел рукой по лбу, словно прогоняя тягостные мысли, и строевым шагом направился к Феликсу.

* * *

Один из добровольцев на стройке, молодой поляк, особенно понравился греку Фредо. Круглоголовый, плечистый и большерукий, со щетиной черных волос на голове, он управлялся с лопатой, как умелый землекоп.

— Сколько тебе лет? — спросил Фредо.

— Восемнадцать, сударь, — ответил парень и в упор поглядел на арбейтдинста. Глаза у него были удивительно светлые.

— А как тебя зовут?

— Бронислав Грин, сударь. Бронек.

— Чем ты занимался до лагеря?

— Ну, я еще не много успел, — улыбнулся Бронек, показав два ряда белых зубов.

— Кормился как мог. А вот отец у меня был солидный человек. Механик...

Фредо кивнул, записал на бумажку фамилию и номер барака и отправился дальше. Когда он встретил зубного врача и тот попросил его перенести бормашину из конторы в восьмой барак, Фредо, не раздумывая, подозвал молодого поляка и взял его с собой.

В конторе царило оживление. Хорст собрал вокруг себя проминентов и разглагольствовал о том, что ему, мол, точно известно, сколько девушек пересидело во время осмотра на его койке. Он нежно гладил ямку на соломенном тюфяке и вслух гадал, кто продавил эту ямку.

— Наверняка та, грудастая, что будет главной в кухне. Видели ее? Какова походочка, как вертит боками да выставляет бюст! Спросите-ка Шими-бачи: сама надзирательница сказала Лейтхольду: «Погляди, погляди, вот это номер!»

Надзирательница имела в виду другое, но среди заключенных ее фраза цитировалась именно в таком смысле, и всем это понравилось: прозвище «номер» так и осталось за Юлишкой Габор.

Но не только Юлишка взволновала воображение Хорста и многих других. Все приставали к Шими-бачи, [192] которому доверили быть врачом в бараках девушек. Доктора расспрашивали наперебой. Один хотел знать, как зовут девушку, которую он видел издали и знал о ней только то, что она высокая или маленькая, худощавая или плотная и что на осмотр в контору она шла в первой, второй, третьей или четвертой двадцатке. Другие, главным образом венгры, выясняли, откуда родом новые узницы, пытались узнать через них о судьбе своих родных. Шими-бачи стал своего рода справочным бюро, ибо девушек интересовали такие же сведения. Вскоре, например, выяснилось, что заключенный по имени Шандор Фюреди приходится кузеном Беа, одной из девушек, назначенных на работу в кухне. Этого было достаточно, чтобы Шандор получил протекцию: врачи назначили его санитаром в лазаретном бараке № 8.

Зденеку трижды предлагали сигареты или кусок хлеба за то, чтобы он составил список всех женщин и пустил его по рукам, — мужчины хотели выяснить, нет ли среди них знакомых. Ему стоило немалых трудов уберечь картотеку от того, чтобы в нее не лазили посторонние: то и дело кто-нибудь пытался заглянуть в интересующую его карточку, выяснить возраст или место рождения девушки.

В гудевшую, как улей, контору вошел молодой поляк Бронек. Осторожно ступая по дощатому полу, словно это был блестящий паркет, он с любопытством поглядывал на собравшихся. Фредо указал ему на бормашину в глубине у окна. Бронек, согнувшись, прошел туда, учтиво обходя проминентов, которые шумно судачили о происхождении ямок на тюфяке Хорста. Но, хотя Бронек очень внимательно

приглядывался ко всему, взгляд его светлых глаз оставался безразличным. «Этот парень похож на сильное, добродушное, молодое животное, — подумал Фредо. — Он вежлив, но у него обо всем есть свое мнение, вполне независимое и даже, может быть, дерзкое, которым он ни с кем ни за что не поделится». Все это нравилось греку.

Когда Бронек нес бормашину мимо писаря, тот хлопнул себя по лбу и воскликнул: — Придумал, ребята! Знаю, как устроить, чтобы венгерки опять появились у нас в конторе.

— Ну, говори же, говори! — накинулись на него Хорст и другие. [193]

— Шими-бачи соберет несколько девушек, и они пожалуются на зубную боль. Тогда он попросит у надзирательницы разрешения отвести их на прием к доктору Имре, понятно? А зубы-то сверлить где будут? Здесь!

Рев одобрения покрыл его слова. Фредо вышел из конторы вслед за Бронек и закрыл дверь.

— Ну что, — спросил он, — как тебе тут понравилось?

— Понравилось, — парень вежливо кивнул.

— У нас там есть свободная койка, и мы ищем штубового, — продолжал Фредо.

Светлые кошачьи глаза опять глянули на него в упор.

— Я не Берл Качка, сударь.

Фредо засмеялся.

— Я не это имел в виду. Среди нас нет таких, как Карльхен. Тебе пришлось бы только прислуживать писарю и Хорсту, чистить обувь, убирать, стирать... И не болтать о том, что слышишь.

— И больше ничего?

— Пока ничего. Но я думаю, ты не глуп... Иногда понадобится сделать и еще кое-что. Кое-что хорошее. Для твоих же земляков. Хочешь?

Бронек кивнул и опять показал в улыбке крепкие зубы.

— Отнеси бормашину в восьмой барак и возвращайся на стройку. Обменяйся одеждой с кем-нибудь из товарищей, у кого она почище. Можешь обещать ему кусок хлеба или еще что-нибудь, я потом помогу тебе рассчитаться. Хорошенько умойся под краном и вечером будь готов, я покажу тебя в конторе.

Бронек, насвистывая, побежал к лазарету, а Фредо зашел к Вольфи и поделился с ним своим планом.

— Неправильно ты поступаешь, — проворчал немецкий коммунист. — Сажаешь в контору людей по своему вкусу, вместо того чтобы посоветоваться с организацией. Прежде надо было выяснить, что говорят о нем поляки, знают ли они его, рекомендуют ли...

— Тебе бы только заседать! — усмехнулся Фредо. — Слушай, Вольфи, на что мне человек с самыми лучшими рекомендациями, если я не смогу устроить его в контору, потому что он не понравится Эриху? И еще: из всех прибывших в лагерь поляки самые измученные; у них еще нет никакой организации. Мы приложим все

силы к тому, чтобы она у них была. Но пока что они лишь понемногу [194] приходят в себя. Мусульманина ведь не преобразишь в одну ночь. Вот погоди, они очухаются, прощупают друг друга и тогда начнут давать небольшие поручения Бронеку. Если я ошибся и этот парень не годится для таких дел, мы его втихую удалим из конторы и поставим там другого, которого организация к тому времени сможет выбрать и рекомендовать. Понятно? Но, поверь мне, Бронек нам подойдет.

— А как твой младший писарь? — рыжеволосый верзила Вольфи приподнял белесые брови. — Как он себя показал?

— Зденек? Он не плох, — сказал Фредо. — Представь себе, он даже сумел повлиять на большого Рача. Тот сказал мне, что главным образом по просьбе Зденека согласился оперировать чеха со сломанной челюстью. Кстати, знаешь, мы приложим все усилия, чтобы найти того, кто изувечил этого беднягу. Видимо, это один из твоих соотечественников.

Вольфи пожал плечами.

— Никто из политических не сделал этого, ты сам понимаешь. Не могу же я отвечать за немецких уголовников.

Фредо дружески поглядел на его веснушчатую физиономию.

— Нет, можешь, вот именно можешь. И я тоже могу, и весь мир может. А тебе, больше чем кому другому, надо бы призадуматься над тем, почему Гитлер оказался у власти, почему в лагере хозяйничает Эрих и почему сегодня будут оперировать ни в чем не повинного парня, которому какой-то ваш капо ни за что ни про что сломал челюсть.

* * *

Перед самой операцией Оскар зашел к Феликсу.

— Не бойся ничего, — сказал он, присев на нары. — Имре — хороший врач, и я сам буду ему ассистировать. А сейчас я хотел бы услышать от тебя, кто это сделал.

Феликсу не хотелось разговаривать. Не столько потому, что он боялся мести немецкого капо, сколько оттого, чтобы не открывать рта. Он шевелил во рту кончиком распухшего языка, стараясь не задевать рану. Одними глазами он улыбнулся врачу, погладил его руку, лежавшую на постели, но так и не проронил ни слова. [195]

— Глупо с твоей стороны, — нахмурился Оскар и выпятил подбородок. — Если ты не скажешь, этот тип избегнет кары и будет свирепствовать и впредь. Ты же его наверняка видел на апельплаце или еще где-нибудь.

Феликс покачал головой. Видимо, он и в самом деле не знает, как зовут обидчика. Он даже не мог вспомнить его лицо. Только смех конвойного на вышке все еще звучал в ушах Феликса, этаким вполне искренний смех, выражение неподдельного восхищения, без тени злорадства. Стоит ли начинать какое-то расследование и даже добиваться наказания обидчика? Стоит ли накликать новые беды на Феликса, который, видимо, смирился и даже доволен тем, что с ним случилось? Зачем они, собственно, подняли вокруг него шум, к чему эта операция?

К кровати подошли маленький Рач и его друг Антонеску. Оба улыбнулись и пожелали Феликсу благополучного исхода.

— Друг Феликс, — сказал Рач и прищурился так, что вокруг глаз у него побежали хитрые морщинки. — Теперь все зависит главным образом от вас. Врачи сделают то, что в их силах. Но без вашей помощи они смогут мало. У вас должна быть воля к жизни. Понимаете? Вы хотите жить?

Феликс кивнул. И даже энергичнее, чем ему хотелось.

— Это хорошо, — сказал маленький доктор и улыбнулся еще шире. — Послушайте, что я вам скажу. Мы, врачи, не распространялись много об этом, но все мы принимаем вашу судьбу близко к сердцу. Ведь вы наш первый пациент из громадной партии заключенных. Правда, многие ваши соседи по лазарету умерли, но они прибыли сюда уже больными, и мы, медики, тут ни при чем. Вы же приехали здоровым. Болеете вы не из-за недоедания или отсутствия обуви. Ваша болезнь не была неизбежна, ее виновник — негодяй в нашей собственной среде. Вот почему мы хотим во что бы то ни стало вылечить вас. Поняли? Это помогло бы и всем другим заключенным, подбодрило бы их. Против Гитлера, против эсэсовцев, против войны, против концлагерей в целом мы сейчас почти ничего не можем сделать. Мы — жертвы и должны ждать, пока нас освободит кто-то более сильный. Но влиять на обстановку внутри лагеря, на взаимоотношения заключенных мы можем, и это влияние надо [196] укреплять. Вы неглупый человек и поймете меня. Я лично тоже хочу помочь вам. Я не дантист, не хирург с умелыми руками. Но я немного разбираюсь вот в этой механике, — он притронулся ко лбу, — и знаю, как много значит для лечения воля больного. Поэтому я хочу укрепить ее в вас. Вы сейчас даже слабее меня, но и вы можете помочь нам всем, помочь просто тем, что выживете. Этим вы покажете беднякам вокруг, что здесь все-таки можно выдержать, что им помогают добрые люди и что добрые люди сильнее, чем злые.

Он говорил тихо и внятно. Феликс внимательно слушал каждое слово. В сердце его что-то таяло, он был тронут и чувствовал горькую радость.

Маленький Рач умолк, дружески кивнул и отошел. Его место занял дантист Имре. Все это время он мыл над ведром руки, и по лицу его не было заметно, слушал ли он речь своего тезки. Но теперь он улыбнулся и спокойным, твердым тоном велел Феликсу повернуться и лечь головой к проходу. Всем другим больным было велено лечь на бок и отвернуться от койки, над которой склонился доктор Имре. Санитар Пеппи отгреб руками стружки из-под головы Феликса. и заботливо подложил под нее сложенное одеяло. Подошел Оскар с эмалированным тазом, взятым из кухни: в нем были прокипяченные инструменты — скудный набор, которым располагал лазарет...

5.

Три новых барака были готовы, стены для четырех других уже лежали на местах. Бараки строили сначала в глубине лагеря, постепенно перемещая стройку к воротам. Так делалось для того, чтобы разгрузочной команде было легче доставлять стройматериалы по еще не разрытой территории. Новые бараки почти примыкали к ограде лагеря. Вместе с другими, которые еще будут построены, они образуют три ряда около кухни, конторы и у самого забора, отделяющего мужской лагерь от женского.

Абладекоманда с пустой тележкой направилась к складу у ворот, чтобы привезти колбасу, которую раздадут заключенным вечером в бараках. У ворот тележку с

нетерпением поджидал Диего со своими могильщиками: [197] тележка нужна поскорей, иначе он не успеет похоронить сегодня всех оставшихся мертвецов.

Писарь Эрих, закончив срочные дела, зашел в двенадцатый барак. У дверей стоял настороже штубак, больше в бараке никого не было, образцово прибранные нары были пусты. Только в глубине, за занавеской, валялся на койке новый блоковый Фриц, курил и читал засаленную газету, в которую прежде была завернута котлета, полученная от фрау Вирт.

Штубак доложил ему о почетном госте и вышел, уступив дорогу Эриху.

— Фриц здесь?

— Да, пожалуйста, пройдите туда.

Писарь оглянулся и быстро прошел за занавеску. Фриц лежал и курил, закрывшись газетой. На вошедшего он не обратил внимания.

— Ты нарочно разлегся или валяешься так целый день? — хмуро спросил писарь.

Фриц неторопливо сложил газету и отбросил ее.

— Лежу в свое удовольствие. И вообще делаю, что мне вздумается. Наплевать мне на твои визиты и на все прочее.

— Ты забылся и говоришь глупости. Хоть ты и поставил на страже штубака, надо быть поосторожнее с газетой. Кстати, я у тебя ее возьму, мне тоже хочется почитать. А теперь слушай: есть о чем поговорить.

Округлив красивые губы, Фриц выпустил клуб дыма.

— Пожалуйста.

— Вижу, что ты уже забыл, как обещал быть благодарным мне до смерти. Но это не важно. Ты даже не встал, когда вошел писарь, даже не предложил мне сесть. Но это тоже не важно. Знаешь, почему я пришел?

— Догадываюсь, — пробурчал Фриц; он неохотно встал и показал рукой на скамеечку у стола. — Вы строите бараки, вам нужен электромонтер, то есть я.

— Может быть, надо бы поговорить и об этом, но не это главное. Скажи мне лучше, почему в бараке у тебя ни души?

Фриц ухмыльнулся.

— А разве в лагере не работают? Не строят бараки?

— Строят. Но ты-то своих людей попросту выгнал на работу, я знаю. Выгнал палкой. Мне в конце концов [198] до этого нет дела. Но известно тебе, что из других барakov пошли только добровольцы?

— Сигарету? — предложил Фриц и, пока писарь закуривал, сказал: — Плюю я на все ваши новшества. Не хватало еще, чтобы в мой барак заявился сволочуга грек и стал агитировать за выход на работу. «Мол, по доброму согласию... Я, мол, приятели, пришел без палки...» — Фриц выпрямился, улыбка сбежала с его губ. — До чего мы дошли, Эрих! Детский сад здесь у нас, что ли?

Эрах с нескрываемым любопытством глядел на смазливую коротышку.

— Только олухи не понимают, что здесь у таас такое. Здесь рабочий лагерь. Постараюсь растолковать тебе это.

Фриц снова усмехнулся.

— Рабочий так рабочий. Я в своем бараке филонов не держу. Пятерых больных сдал в лазарет, остальным велел вкалывать.

— Оскар жаловался, что ты послал ему пятерых вместо трех, которых отобрал Антонееку. Двое легко больны, их можно было оставить в бараке. Если каждый блоковый будет поступать, как ты, в лазарете не хватит места.

Но Фриц не сдавался.

— Я уже сказал: у меня никто филонить не будет! Если ты болен, катись в лазарет. А если нет — то на стройку!

Глаза Эриха блеснули за стальными очками, но он сохранил выдержку.

— Дурной ты, Фрицек. Пока тебе говорю об этом я, для тебя еще не все пропало. Не твое дело распоряжаться в лагере. Кому место в лазарете, решает старший врач, все равно, нравится он тебе или нет. А о том, кто пойдет на стройку, решает арбейтдинст. И того и другого поддерживаю я и весь штаб лагеря, а если хочешь знать, то и комендатура. Так что полегче, Фриц!

— Это все, что ты хотел сказать?

— Нет, это еще только начало! Сегодня вечером будут выдавать колбасу. Напоминаю тебе, что каждый заключенный должен получить свою порцию в таком виде, в каком она придет из кухни. Понятно?

— Вот еще новость? Блоковые...

— Все блоковые именно так и поступят сегодня, [199] в том числе ты... Кухня пришлет готовые порции, и худо будет тому блоковому, который обделит когонибудь!

Фриц усмехнулся.

— А как вы это проверите?

Эрих положил кулак на стол.

— Проверим! В твой барак я приду сам и опрошу людей.

— А если мусульмане побоятся сказать, что получили всего по полпорции?

— Не побоятся! Вот тут-то и начинается твоя опасная слепота, Фриц. Кабы ты не валялся здесь, а сходил на стройку, ты бы понял, почему они не боятся. Я туда иногда хожу, Фредо ходит часто, и даже Карльхен научился там кое-чему, чего ты никак не поймешь. Знаешь ты, что на стройке совсем не бьют людей?

— А мне-то что? В моем бараке все остается по-прежнему.

— Лагерь изменился, Фриц! Копиц изменился. Может быть, Дейбель все еще такой же дурной, как ты... Но и вы двое поймете, что новый дух...

Фриц стал перед Эрихом, засунув руки в карманы, по-бычьи нагнув голову.

— Теперь я тебе скажу, кто из нас дурак. Дейбель настоящий эсэсовец, а я настоящий арестант. Он действует по уставу, и я тоже. Если у Копица сейчас другие инструкции — это странные инструкции. И, если вы им верите, ты и он, значит, вы за долгие годы ничему не научились. Готов биться об заклад, что из нас двоих выиграет тот, кто не верит, что эсэс может измениться, кто посмеется над

рассказнями о новом духе лагеря. Я в этой школе уже девятый год, нагляделся на всякие новшества и перемены. В конечном счете лагерь всегда оставался лагерем, и выживал в нем лишь тот, кто ни на какие новшества не рассчитывал и делал то, что полагается заключенному. Я бывал на коне и под конем, отведал и порки, а теперь меня разжаловали в блокковые. Но мне ясно одно: ты просидел в лагере меньше, чем я, и не знаешь того, что я знаю. Я тебя переживу. Тебя и всех этих оскардов и фредо. Переживу, хочу я этого или нет, потому что знаю, что такое эсэс, а вы не знаете.

Эрих пожал плечами.

— Спорить с тобой — пустое дело. Держать пари я готов, только вот не знаю, как ты со мной [200] расплатишься, когда Диего погрузит тебя на тележку вместе с другими трупами.

— Хочешь, чтобы мы стали врагами, Эрих? Можно и так. Только скажи мне, зачем ты меня выручал, когда я попал в беду? Тут бы как раз и утопить меня окончательно. Почему же ты меня не топил, как другие?

Как ни странно, этот вопрос задел писаря за живое. Он снял очки и протер их.

— Ты прав, Фрицек. Почему же я тебя не утопил? Ведь я мог от тебя отделаться. Вот и Фредо ко мне привязывался, зачем, мол, я тебя выручаю. Я тогда придумал какой-то предлог, в который и сам не верил. А тебе я сейчас скажу. Иной раз по ночам я просыпаюсь и думаю: худо дело, я ведь один-одинешенек против этих политических. Из зеленых в штабе нашего лагеря сидит только Хорст, а он пустое место. Карльхен сызмальства тупая скотина, с ним нельзя делать политику. Ты тоже звезд с неба не хватаешь, но ты ловкач, с тобой можно провести хорошее дельце. Вот почему я тебя выручал, Фриц, знай это. Красных намного больше, чем нас, они образованные, война кончается, и это им на руку. Я-то их не боюсь, я умею с ними обращаться. Но зачем мне быть против них в одиночестве?

Фриц положил ему руку на плечо.

— Ага, милый Эрих, тебя тревожит нечистая совесть. А зачем ты вообще стал помогать красным? Что они могли бы сделать, если бы сам Эрих Фрош не открыл перед ними двери конторы?

Писарь усмехнулся.

— Вот видишь, опять ты плохо соображаешь! Не понимаешь, что они правы. Из нас, зеленых, выживет лишь тот, кто присоединится к ним. Понятно? Дело не только в нашем лагере. Надо подумать и о том, что будет после войны...

— После победы немецкого оружия? — усмехнулся Фриц и похлопал рукой по засаленной газете. — Я вижу, в тебя уже проникла красная зараза. Прочитай-ка вот это и приободришься. Ежедневно мы бомбим Лондон новыми, невиданными снарядами «Фау-2». Каждое попадание — шестьсот домов как не бывало! Начали мы с «Фау-1», сейчас уже в ходу «Фау-2», понятно? А скоро придет очередь «Фау-3», представляешь, что это будет? У фюрера есть в запасе секретное оружие. Так что не дури и не [201] теряй головы. Война и в самом деле скоро кончится, только в нашу пользу, а не в пользу этих политических. На новый дух и всякую такую блажь я плюю. Делай ставку на хвата Дейбеля — не прогадаешь.

Эрих встал.

— Ну, мне пора. Не стану с тобой спорить. Теперь ты знаешь, что я выручил тебя как немца и как зеленого. Относись к этому как хочешь. Но выручу ли я еще и Пауля — это вопрос, так ты ему и передай.

Он сунул газету в карман и хотел выйти из-за занавески. Фриц ухватил его за рукав.

— Как ты сказал? Пауля? А что сделал Пауль?

— Эрих Фрош все знает, мой дорогой! Мне приходится думать и за таких олухов, как вы. Недавно я дал слово, что накажу человека, который сломал челюсть тому чеху. А это сделал Пауль.

— Откуда ты знаешь?

Эрих устало отмахнулся.

— Не трудно догадаться. Боюсь, что догадаются и другие. Тогда мне придется сдержать свое слово. Не хочется мне этого делать, ведь Пауль — зеленый, как ты и я. Стольких трудов мне стоит выручать вас, а вы все портите. Ты такая же дурная башка, как и этот боксер Пауль. Я для того и пришел, чтобы сказать тебе это. Будь осторожен, раздавай правильные порции, не воруй так много! Не бездельничай, иди на стройку. Проведи завтра электричество в семи бараках, которые сегодня закончены. Будь человеком! А если на тебя все-таки не действует все, что я сейчас сказал, учти еще одно: кто близок к конторе, тот близок к девушкам. Разве до тебя еще не дошла весть, что у нас в лагере есть девушки?

Все это писарь говорил уже на ходу. Фриц проводил его до самых дверей и с минуту глядел ему вслед. Да, что ни говори, Эрих — светлая голова. Если все, что он сказал, правда, то, видно, лагерь все-таки изменился больше, чем можно было ожидать. Стоит ли оставаться в этом лагере такому предприимчивому человеку, как Фриц, не пора ли подумать о перемене места?..

* * *

Калитка женского лагеря заперта на большой висячий замок, ключ лежит в кармане у Лейтхольда. Там, за [202] оградой из колючей проволоки, в бараках и в уборной, где устроена примитивная «умывалка», девушки усердно готовятся к завтрашнему рабочему дню. Наконец-то они могут обменяться предметами одежды, выданной им в Освенциме перед самой посадкой в поезд, крупные девушки ищут платья пошире, которые можно застегнуть, маленькие довольны, получив размером поменьше. Кое у кого нашлась иголка с ниткой, девушки что-то перешивают, стирают.

Илоне вспомнилась картинка в детской книге — старая сказка о волшебной мельнице. Уродливые ведьмы прыгают в жерло мельницы и появляются с другого конца в виде прекрасных лесных фей. Освенцим был такой мельницей, только там все происходило наоборот. В нее-то и попали девушки. В Венгрии 1944 года большинство из них жило довольно сытно и весело, все еще беззаботно, почти как дети. И вдруг они были оторваны от матерей и очутились в концлагере, среди заключенных, которые сидели там уже по многу лет. Девушки ничего не понимали, они задавали глупые вопросы, вроде: «Что это за высокие трубы около вокзала?» Когда им сказали, что там пекут хлеб, они охотно поверили. В красивой будапештской обуви, чулочках и с сумочками, одни в костюмах от хорошего

портного, другие в простеньких и даже бедных платьицах, все они были еще свежи и красивы и не забывали о внешности: прическа, подмазанные губки...

Освенцимские жернова мололи крепко. Сначала раздался приказ: «Снимать все!» Часы, кольца, браслеты. Сумочки положить у ног. Сбросить с себя всю одежду, оставить ее на полу. Потом — раз, два! — перешагнуть через нее и бегом на очередную «селекцию», а оттуда в другой барак, где уже ждут парикмахеры. На пол падают косы, кудри и много слез. Потом чья-то рука пришлепывает на тело девушки пригоршню вязкого мыла, каким обычно моют полы, и толкает под горячий душ. У выхода во двор ждет человек с помазком в руке, макает его в едкую зеленую мазь от вшей и обмазывает наголо остриженную девичью голову...

Девушки, пошатываясь, выходят на двор, протирают глаза, которые щиплет мазь и остатки мыла, хотят найти сестру или подругу, с которой вместе начали этот крестный путь, но не узнают друг друга. Потом всех их [203] гонят к грудам тюремного платья. «Бери, бери!»-кричат им и бросают части одежды, которые девушки должны надевать чуть ли не на ходу. Под конец они получают головные платки для своих позеленевших голов, и превращение в безобразных старух закончено.

Сегодня в Гиглинге они впервые моются без надзора, могут поменяться одеждой или как-нибудь подогнать ее, у них даже есть время подумать о том, как лучше повязывать платки. Из старух снова начинают проглядывать девушки.

Неутомимо наряжается Юлишка. Она назначена старшей по кухне, стало быть, она влиятельная фигура, каждой хочется быть с ней в хороших отношениях. И, если Юлишка говорит: «Дай-ка мне примерить твоё платье», — ни одна девушка ей не отказывает, и Юлишка деловито раздевается и одевается, вертится перед дверным стеклом, запустив руку за спину, подтягивает лифчик, чтобы он лучше облегал бюст, зовет на помощь одну из девушек, оказавшуюся портнихой, и успокаивается окончательно, только убедившись, что получила самое лучшее платье и лучший платочек.

— Ну как тебе нравится бесстыдница? — спросила Магда Илону, когда мимо них снова мелькнула полураздетая Юлишка.

Илона грустно улыбнулась.

— Оставь ее в покое. Она неплохая девушка, я ее знаю. Но она страшно боится смерти и сейчас, бедняжка, защищается единственным оружием, которое у нее осталось, — телом.

* * *

Операция продолжалась долго, Феликс несколько раз терял сознание. Доктор Имре даже вспотел, хотя в бараке было холодно. Наконец он опустил руки и присел отдохнуть. «Готово», — сказал он тихо и совсем не по-военному.

Оскар зажег сигарету и всунул ее в рот коллеге. «Молодец», — сказал он.

Феликс лежал, закрыв глаза, и почти не дышал. Доктор Антонеску не отходил от него. Другим больным было разрешено лечь на спину. Все они с немым вопросом глядели на доктора Имре: «Выживет?» Имре пожал плечами, закрыл глаза и сидел молча, вдыхая дым [204] сигареты, прилипшей к нижней губе. Несколько посторонних тихонько заглянули в лазарет, среди них арбейтдинст Фредо.

— Я вижу, бормашина вам больше не нужна, — шепотом сказал он. Через несколько минут Бронек пришел за бормашиной и унес ее в контору. Фредо тем временем с должной дипломатичностью сообщил писарю и Хорсту, что выбрал им подходящего парня для услуг. Они оглядели Броника и удовлетворенно кивнули, увидев крепыша, довольно чисто одетого и смышленного на вид. Держался он скромно, понимал по-немецки, сказал, что умеет стряпать, и на пробу отлично вычистил сапоги Хорста.

— По-моему, пусть приступает хоть с сегодняшнего дня, — усмехнулся писарь. — Главное, что он не грек! А что скажет староста лагеря?

Вместо ответа Хорст сел к столу, взял чистую нарукавную повязку и красиво написал на ней по-немецки «Läufer» («Рассыльный»). Он был горд, что у него теперь есть вестовой, как подобает «почти офицеру» и главному среди заключенных.

— Парень, — поучал он Броника, надевая ему повязку, — надеюсь, ты оценишь наше доверие. «Läufer» происходит от слова «laufen» <бегать (нем.)>. Бегать — значит быстро двигаться, быть деятельным, активным. Бегать — значит не расслаиваться, не бездельничать, не валяться, не лодырничать. Бегать — это не только движение, это мировоззрение, понял?

— Jawohl! — сказал молодой поляк с кошачьими глазами и усмехнулся.

* * *

В бараках выдавали хлеб — по буханочке на четверых — и колбасу из конины — по четыре ломтика на человека. Бывший кельнер Франта, раздавая порции в четырнадцатом бараке, громко ржал по-лошадиному, намекая этим на происхождение колбасы. Вечером в конторе Зденек услышал песенку, пользовавшуюся большим успехом у заключенных немцев. Двое немцев пришли в гости к писарю, получили по порции колбасы и запели: [205] «Мамочка, купи мне лошадку»^[12]. Последняя строчка этой песенки «Лошадку я хотел, но не такую...» была слегка переделана и содержала жалобу на мизерность порции.

Писарь так смеялся, что у него даже запотели очки. Он выпил с гостями по рюмочке шнапса. Потом взглянул на бутылку и вдруг хлопнул себя по лбу, вспомнив того, от кого получил ее, — Фрица. Спровадив гостей, Эрих направился в двадцать второй барак — проверить, внял ли новый блоковый его предостережению и раздал ли честно все порции.

По дороге он встретил Лейтхольда, который запирали калитку женского лагеря. Рабочие из абладекоманды принесли корзины с хлебом и колбасой и поставили их возле калитки. Потом им было велено повернуться направо кругом и убираться вон. Из женских барачков к калитке поспешили блоковые, Лейтхольд отпер калитку, девушки внесли корзины в лагерь, и эсэсовец опять повесил замок.

— Утром в шесть поверка! — крикнул он им. — Вы, писарь, тоже будьте готовы в шесть. Правда, надзирательница вам не доверяет, но я лично думаю, что могу положиться на вас и в этом деле.

— Ehrensache! — прохрипел писарь (это, мол, «дело чести») и старался дышать так, чтобы Лейтхольд не учуял запаха шнапса. — Сегодня мы выполнили приказ — построили семь барачков. Хорошо, если бы вы, герр кюхеншеф, походатайствовали

в комендатуре о небольшом поощрении для добровольцев. Добавочная порция супа или что-нибудь в этом роде. Это очень помогло бы сохранить трудовую дисциплину на сегодняшнем высоком уровне...

— Schon gut, na ja... — бормотал новый эсэсовец, думая о том, что, быть может, он роняет свое достоинство, разговаривая с заключенным, хотя бы и с влиятельным писарем. — Я сделаю, что смогу.

— Тысяча благодарностей! — прохрипел писарь, почтительно наклонив голову и стараясь не дышать на собеседника. [206]

В комендатуре было так жарко, что Лейтхольд еще в дверях оттянул рукой воротник френча.

— Сними-ка этот фюреровский мундир, — приветствовал его Копиц. Он был, как обычно, в рубашке, из рукавов и у воротника выглядывала фуфайка. Рапортфюрер сидел, наклонясь над миской гуляша, состряпанного Дейбелем из казенной колбасы. Время от времени Копиц поднимал голову, утирал пальцем усы и брался за нож и хлеб. Набросав кусочки хлеба в густой красный соус, он снова наклонился над миской и, чавкая, орудовал ложкой.

Лейтхольду тоже дали обильную порцию, хотя он клялся, что колбасы уже видеть не может, так как, присутствуя сегодня при развеске порций в лагерной кухне, съел ее граммов четыреста. Но, не желая обидеть Дейбеля, приготовившего это блюдо, он расстегнул ворот и принялся за еду.

Копиц опять был в хорошем настроении. Визит Россхауптихи прошел благополучно. Прощаясь, надзирательница вскользь упомянула о том, что среди заключенных есть одна смуглая девчонка, которую она, Россхаупт, избрала себе в секретарши. Сказано это было отрывисто, с хмуро деловым видом, в обычной манере Кобыльей Головы, но у прожженного рапортфюрера все же возникло некое подозрение, и оно его обрадовало. Боже, как бы ему хотелось узнать об этой противной «соратнице» что-нибудь неблагоприятное! Женщины в лагере — досадная обуза для Копица. До сих пор в такие маленькие лагеря, как «Гиглинг 3», женщин вообще не посылали, потому что с ними одна морока. Правда, Россхауптиха, видимо, сумеет поддерживать порядок. А если из-за какой-то там смуглой девчонки-секретарши она еще окажется в руках рапортфюрера, бояться будет совсем нечего... Только бы кюхеншеф не натворил глупостей!

— Слушай-ка — с полным ртом обратился Копиц к Лейтхольду. — Говорят, сегодня днем, на осмотре девушек, ты с них глаз... виноват, глаза не сводил. Это верно?

Лейтхольд зарделся, как обычно — у него покраснела лишь одна щека.

— Вздор! — пробормотал он. — Это все Россхауптиха болтает. Я усвоил твое наставление: для меня существуют номера, только номера!

— Дай бог! — продолжая жевать, сказал Копиц. — [207] Дейбель и я тертые калачи. В свое время и мы потешались, когда нам впервые доверили хефтлинков, и считали, что можно делать с ними все, что нам вздумается. Иной раз, бывало, совсем запаришься, и даже перед глазами круги, а, Руди?

Он громко рассмеялся, а Дейбель небрежно махнул рукой.

— Но посмотри на нас сейчас, — продолжал Копиц. — Перед тобой закаленные

бойцы, зрелые немецкие мужи, как говорит фюрер, которые стоят выше всяких там мелких утех с заключенными. Некоторые наши коллеги любят обрабатывать узников в одиночку, но ведь это так утомительно! Когда проторчишь тут годы и годы, все это приедается и набивает оскомину. Те же, кто забавляется с заключенными иначе, да еще с неарийскими девками, те всегда плохо кончают; в нашем деле они недолго протянут. — Рапортфюрер усмехнулся, протянул здоровенную ручищу через стол, ухватил Лейтхольда за борт френча и притянул его поближе. — Я, конечно, не говорю, что мы с Дейбелем воплощенные ангелы, у нас тоже есть свои утехы, но, понимаешь ли, более утонченные. И мы иной раз позабавимся, но при этом никогда не забываем о будущем... — Копиц поднес руку к лицу Лейтхольда и задвигал пальцами у него перед носом. — Пети-мети, понял? Это самая большая утеха!

Кюхеншеф перевел дыхание, и его воображению снова представилась клетка с хищниками, в которую он так безнадежно угодил. Есть он уже не мог и встал из-за стола.

— В чем дело? — строго спросил Дейбель. — Тебе не нравится гуляш?

— Нравится, — отозвался Лейтхольд и снова плюхнулся на стул.

Копиц подвалил ему еще гуляша.

— Только не обожрись. Тебе от всего полагается одна треть, понятно? Во всяком деле мы — одна рука, единая и нераздельная троица, вот как мы понимаем товарищество. Но, ежели ты, не дай бог, затеешь какую-нибудь *Rassenschande* {13}, заведешь шашни с неарийками, тогда уж тебе придется расхлебывать эту кашу самому. Девок [208] в кухне не вздумай трогать, Россхаупт будет за тобой присматривать. А если ты не дурак, можешь платить ей тем же. Присматривай за ней потихоньку. Не показалось ли тебе, кстати, что во время осмотра у нее тоже текли слюнки?

* * *

Писарь уснул позже всех в лагере. Перед сном он читал засаленную газету, полученную от Фрица. В ней было много интереснейших новостей, и совсем не в пользу того, что предсказывал этот коротышка гитлерюгендовец. Советские войска наступали на Восточную Пруссию и штурмовали Дуклу. Нацистам «удалось эвакуировать Грецию, Румынию и Болгарию», говорилось в германской сводке, и «разрешить тем самым одну из труднейших задач, стоявших перед нашими вооруженными силами». Войска союзников, Италии и Венгрии, вышли из игры, это было ясно. На все крупные города Германии падали бомбы, но немцы тоже обстреливали Лондон ракетными снарядами «Фау-2»; это, очевидно, не было выдумкой. Англичане заняли Вальхерен в Голландии. Иден только что побывал в Риме. Советские войска вступили в Ужгород и приближались к Будапешту. Коренной венец, Эрих хорошо знал, как близко от Будапешта до Вены...

Нет, будь даже у Гитлера в запасе самое чудодейственное «Фау-3», войны ему уже не выиграть. «Стало быть, моя линия на сотрудничество с политическими заключенными правильна, — решил писарь, — надо углублять это сотрудничество. Но не следует совсем топить и Фрица, мало ли как могут обернуться события...»

У Эриха уже смыкались глаза. Он перевернул газетный лист и обратил внимание на какую-то невразумительную фразу. Ничего толком не поймешь, и все же

заметно предчувствие неотвратимого конца. Среди «Интереснейших афоризмов недели» газета приводила на первом месте изречение некоего профессора философии Мартина Хейдеггера. Колбасник Эрих Фрош решил, что завтра потребует от своего младшего писаря, чтобы тот объяснил ему, в чем тут суть. Для чего же иначе он держит у себя в конторе человека с университетским дипломом? [209]

Изречение профессора Хейдеггера начиналось так: «Смерть есть наиболее естественное, устойчивое и характерное состояние природы...»

— Ну-с, будьте здоровы! — зевнул писарь и погасил свет.

6.

Снегопад прекратился, казалось, близка оттепель, но толстый слой снега все еще лежал на земле и на крышах.

С утра, едва проснувшись, узники стали чесаться. В уборных только и говорили о том, что в лагере появились вши. Кое-кто уже выискивал и давил их в швах белья. Вот одна, вот другая... Серые, чуть синеватые, почти неподвижные. Тотчас же послышались старые армейские шуточки: «Которые с крестиком на спинке, те от меня, ты их, приятель, не обижай!»

Как и в каждом лагере, нашлись любители «Бравого солдата Швейка», которые знали из этой книги наизусть целые страницы. Стали вспоминать, что Швейк говорил насчет вшей. И вот уже кто-то рассказывает о перепившем майоре, который допрашивал Швейка в тюрьме и уснул в его объятиях на вшивом тюфяке. А рано утром бравый Швейк наставлял высокого гостя: «Если вошка маленькая, с красноватой спинкой, это самец. Один самец — еще полбеда. А вот если к нему на пару найдется длинненькая вошь с красноватыми полосками на брюшке, дело плохо. Это, стало быть, самочка. А они, паскуды, размножаются еще быстрее, чем кролики...»

Гонза Шульц сидел на нарах и думал совсем о другом. Гонза был человек здравого ума, в политике разбирался, в духов не верил, молиться не умел. Но от одного маленького предрассудка Гонза избавиться не мог: он суеверно берег нечто, называемое «картинкой», берег как зеницу ока, уверенный, что если потеряет эту вещицу, то уже не найдет в себе сил оставаться здоровым и хотя бы в мыслях вырваться из этого подлого лагеря.

Гонза держал в руке картонный квадратик, в середине которого был маленький рентгеновский снимок зубов. Снимок был такой же грязный и захватанный, как и рамочка, но, если посмотреть на свет, видны были контуры двух зубов и полоска десны. Это была «фотография» его жены Ольги, полученная им в подарок к свадьбе. Лучшей не нашлось, так как фотографов в Терезине не было, [210] а снимок двух больных зубов Ольга случайно нашла в кармане жакетки. Он остался незамеченным при обысках и не попался на глаза пресловутым «бралкам» (от слова «брать»), которые интересовались главным образом дамскими сумочками, вытаскивая оттуда все, что попадалось.

Гонза взял снимок с собой в Освенцим. Во время «селекций» Гонза обычно прятал его во рту (где, собственно, и место такому снимку!), а когда опасался, что эсэсовцы прикажут открыть рот — нет ли там случайно кольца, ножика или часов, — тогда ронял снимок на пол, захватывая поджатыми пальцами левой ноги. Так он

сберег его до самого Гиглинга.

Сейчас Гонзе предстояло принять важное решение, Дело в том, что картонная рамочка снимка совсем обветшала; если каждый день брать снимок с собой на работу, он просто рассыплется в кармане. Гонзе же хотелось во что бы то ни стало сохранить свою «картинку» хотя бы такой, какова она сейчас: он верил, что без нее он не сможет благополучно вернуться в Прагу и увидеться с Ольгой. Гиглинг, видимо, сулил заключенным известную устойчивость существования, здесь можно не опасаться внезапной отправки куда-нибудь. Стало быть, не лучше ли спрятать драгоценный сувенир в щель в нарах, прикрыть стружкой и вынимать только вечером, чтобы полюбоваться на него перед сном.

Гонза улыбался, у него вдруг невольно возникла уверенность, что в Гиглинге ни ему, ни «картинке» не грозит опасность. Несмотря на все тяготы и лишения, несмотря на снег, общие сборы и вши, здесь у него появилось ощущение безопасности. Ошибочное? Может быть. Но было так приятно хоть на минутку поддаться этой обманчивой надежде и думать о том, что здесь он будет спокойно работать лопатой. Бросив последний взгляд на стружку, под которой лежала его единственная ценность, Гонза вышел из барака.

* * *

Сегодня утром у венгерских девушек был первый общий сбор. За оградой женского лагеря они выстроились в шеренги по пяти человек. Илона отпрапортовала. Лейтхольд с помощью секретарши Иолан и доктора Шими-бачи распределил девушек так, как вчера распорядилась [211] Россхауптиха: двадцать человек пойдет в лагерную кухню, двадцать — в кухню СС, двадцать — уборщицами в бараки охраны. Оставшиеся девятнадцать, в том числе трое больных, будут работать в лагере. Они уберут два жилых барака, а в третьем, еще незаселенном, устроят контору и лазарет: барак перегородят занавеской из одеял, впереди будет помещение для больных, сзади — для старосты Илоны и секретарши Иолан.

В мужском лагере тем временем началась обычная утренняя жизнь. Иногда кто-нибудь из заключенных бросал взгляд через забор на «женскую территорию», но в общем было похоже, что «мусульмане» боялись глядеть туда. Они казались себе такими жалкими, слабыми, продрогшими, а там, за забором, щебетали и бегали девушки, с голыми икрами, в коротких платьях и деревянных башмаках на босу ногу. Словно тут не было ни снега, ни колючей ограды! «Мусульмане» смущались. Они втягивали голову в плечи, украдкой сморкались в руку и стушевывались, переходя в такое место, откуда не видно девушек.

Лейтхольд открыл калитку, и первая группа девушек во главе с Юлишкой промаршировала в кухню. Платочки у всех были повязаны одинаково: плотно вокруг головы, с веселым узелком на макушке. То ли это были особенно бойкие девушки, то ли им было жалко темных, как тени, «мусульман», глядевших на них со всех сторон, но они шагали четко, в ногу, под возгласы «левой, левой!» и даже запели. Словно для того, чтобы подбодрить «мусульман», они грянули солдатскую песню: «Эх, мамаша, ветер, стужа, дай-ка мне платочек...»

Маршировать с песней — это было невиданно в «Гиглинге 3». «Мусульмане» опускали головы или останавливались, разинув рот. Кто это идет с песней на работу, кто эти девушки, даже в тюремной одежде не утратившие бодрости? Боже мой, ведь существуют еще на свете женщины и песни, а мы уже почти забыли об

этом!

Поход девушек с песней по лагерю был недолог, скоро они исчезли в дверях кухни. Но песня словно осталась в воздухе. Гонзе Шульцу она слышалась целый день, и почти весь день с лица его не сходила улыбка.

Вчера у него был долгий разговор с Фредо. Гонза еще раз объяснил ему, почему он не хочет добровольно участвовать в стройке бараков, а грек старался доказать ему, [212] что он ошибается. Самоуправление заключенных, говорил Фредо, важное дело, его надо всячески поддерживать. Глупо было бы опустить руки и оказать: «Бейте меня, иначе не стану работать». Работа работе рознь. Строить бараки для себя и для товарищей, которым иначе придется ночевать в снегу, это не то же, что строить укрепления для нацистов. Такую работу, которая полезна главным образом нам самим и при которой нас никто не сторожит, надо использовать для других, более сложных задач. Ведь люди сблизятся на работе. Заключенные разных национальностей — поляки, чехи, венгры, французы, греки — могут сплотиться в единое целое. Долго работать на территории лагеря нам не придется, вскоре нас отправят на другую стройку, о которой мы пока что ничего не знаем, и только предполагаем, что это военный объект. Вот там будет уместен вопрос, следует ли работать добровольно. Но и там не имеет никакого смысла — и было бы безнадежно! — предпринимать что-нибудь в одиночку, на свой риск. Действовать надо сообща с людьми, с которыми мы сблизимся во время работы здесь, в лагере. Тогда другое дело!

— Понял? — усмехнулся Фредо. — Парням неробкого десятка, как ты, предстоит бороться там, а не здесь. А сейчас надо подготовить почву, иначе мы потеряем союзников. Но если ты все-таки не хочешь идти на стройку, тебе ничто не грозит, я на тебя доносить не стану.

Гонза с минуту молчал, потом поднял голову и в упор поглядел на грека.

— Не знаю, кто ты такой и не говоришь ли ты все это только затем, чтобы любой ценой привлечь добровольцев. Может быть, немцы сделали тебя ответственным за стройку и пригрозили повесить, если ты провалишь дело? Может быть, ты уговариваешь нас только затем, чтобы спасти свою шкуру?

— Упрямая ты башка! Я ведь тоже не знаю, кто ты такой и почему ты стал таким озлобленным и подозрительным. Ну, окажем, мне и в самом деле немцы приказали обеспечить стройку бараков. Но если я беспокоюсь только о своей шкуре, то почему же мне не взять в руки палку? Чего уж проще! Почему же я в таком случае не иду жаловаться на тех, кто мне мешает, агитируя против добровольной работы? А уж если я такой чудак и рискую [213] жизнью, лишь бы не орудовать палкой, так, может быть, стоит все-таки меня побережь? Или ты хочешь, чтобы меня повесили, а на мое место поставили проминента посвирепей, а то и эсэсовца?

Гонза почесал нос.

— Хорошо поешь! Но у нас дома тоже бывали ловкие говоруны, а помогали они только фабрикантам. Когда невыгодно было посылать полицейских, против нас посылали господ ораторов. Социал-фашистов, так мы их прозвали.

— И правильно прозвали! — усмехнулся Фредо. — Но пораскинь мозгами: кому я помогаю, эсэсовцам или заключенным? Бараки — это жилье для нас. Эсэсовцы напихают сюда людей, не считаясь с тем, успеем мы достроить бараки или нет. В

понедельник они погонят нас на стройку укреплений или военных заводов. Вот если я и там буду уговаривать тебя работать добровольно, можешь назвать меня социал-фашистом.

— А в понедельник ты пойдешь с нами?

— Еще не знаю. Может быть, меня оставят в лагере. Но тем нужнее будут такие, как ты, там, на внешних работах.

— А что мне там, по-твоему, надо делать?

— Трудно сказать. Неизвестно, какая там обстановка, много ли соберется народу, будут ли это только заключенные. Но и там я не советую тебе поступать так опрометчиво, как сейчас. А то эсэсовцы прикончат тебя в первый же день.

— А если я убегу?

Фредо поглядел на него с удивлением.

— Ах, вот оно что! Все думаешь только о себе! Что ж, удрать, может быть, и удастся. Учти, однако, что ты в Баварии и пробраться в Чехию будет нелегко.

-А ты бы не удрал, будь ты недалеко от границ своей родины и знай, что у тебя там есть друзья, которые тебе помогут?

Фредо пожал плечами.

— Не знаю, что я сделал бы на твоём месте. Наверное, не удрал бы. Ведь у меня тут товарищи, большая группа греков, они мне доверяют. Пока я могу помогать им и таким, как ты, до тех пор я не сбегу.

Гонза откашлялся.

— Может быть, я сейчас говорил неосторожно, и ты [215] все-таки донесешь на меня. Но, может быть, ты честный человек. Ладно, если хочешь, я завтра утром выйду на стройку. А в понедельник после работ зайду к тебе рассказать, что я там видел. Идет?

Фредо стиснул ему руку. Улыбнувшись друг другу, они разошлись.

* * *

Абладекоманда сегодня вся разъехалась в разные места: Зепп, как обычно, уехал с конвойным Яном за хлебом, Коби возглавил доставку материалов со склада на стройку, Пауля и Гюнтера взял с собой Дейбель, уехавший в Дахау за первой партией теплых пальто и шапок.

Копиц не появлялся в бараках. У него было много дел в комендатуре: в эсэсовской кухне шла замена немецких поваров заключенными девушками, надо было обеспечить то одно, то другое, присмотреть за уезжающими, которые с кислым видом собирались ехать, сами не зная куда, но, видимо, на фронт, и сказать им несколько напутственных слов. Рапортфюрер с удовлетворением выслушал донесение писаря о том, что на стройке роют рвы для новых семи бараков, а во вчерашние семь уже проводят электричество. К вечеру все будет готово. Менее приятным было другое сообщение: в мертвецкой лежит шестнадцать новых трупов, и оба больничных барака снова переполнены. Сто шестнадцать человек полностью нетрудоспособны, так по крайней мере утверждает Оскар.

— Третьего барака мы ему не дадим! — Копиц стукнул кулаком по столу. —

Завтра ему подай четвертый, потом пятый, глядишь, и у меня здесь будет не рабочий лагерь, а какой-то инвалидный дом. Этого я не допущу! Ты, писарь, поддерживаешь Оскара? А ведь ты не новичок в лагере и должен бы знать, что проминентам невыгодно, когда в лагере больше больных мусульман, чем здоровых работников. Начальство может ликвидировать такой лагерь и отправить всех вас в печь. Кто поручится, что заодно с больными туда не попадет и здоровый писарь? — Копиц вынул изо рта фарфоровую трубку с изображением оленя и ткнул мундштуком в багровый шрам на шее Эриха. «Чирик!» — изобразил он звук топора. Эрих поклонился и щелкнул каблуками.

— Осмелюсь сказать, что об этом не может быть и речи. Я всегда был за сотрудничество с Оскаром, но есть [215] же границы. Двух бараков довольно, больше мы ему не дадим. Но любопытно, что из этих шестнадцати покойников пятеро умерло в жилых бараках, а не в лазарете. Стало быть, здоровье заключенных и вне лазарета...

— Заткнись! — проворчал Копиц, зажигая трубку. — Это все те, без обуви. Тут уж ничего не поделаешь. Пока все они не перемрут, смертность у нас не снизится. Но сегодня Дейбель привезет пальто и шапки, это уже что-нибудь да значит! А те тысяча триста человек, что придут в воскресенье, говорят, хорошо одеты. Вот увидишь, все наладится. В понедельник мы без труда скомплектуем рабочие бригады.

* * *

Писарь шел обратно в контору. Снег на земле уже сильно подтаял, небо прояснилось, светило солнце. Эрих сморщил нос, сощурился и рукой, как козырьком, прикрыл глаза от солнца. «А выгодна ли для нас такая перемена погоды?» — размышлял он.

Едва он сел за стол, открылась дверь и вошел Берл Качка в безупречно пригнанной одежде. Под мышкой у него был новенький деревянный ящик для картотеки.

— Добрый день, герр писарь, — веселым мальчишеским голосом произнес он, спускаясь по ступенькам. — Герр капо Карльхен кланяется и посылает вам ящик.

Зденек ниже склонился над столом.

— Поди-ка сюда, покажись, — проворчал писарь.

Берл, думая, что похвалят его экипировку, повернулся, как манекенщица в салоне.

— Кто это тебе шил? — хмуро спросил писарь. — Надень-ка шапку!

Юноша почувствовал, что это неспроста, но еще улыбался. Он нацепил матросскую шапочку набекрень и сделал на ней две лихие складки.

— Кто тебе шил, я спрашиваю! — прохрипел писарь с такой злостью, что Зденек поднял голову.

— Я получил это в Освенциме, — тихо оказал Берл.

— Не ври! Это сшито в Гиглинге. А шапочка выкроена из куртки. Сколько ты за нее заплатил?

— Ах, господин писарь... — Берл скривил рот, словно собирался заплакать, и, мигая длинными ресницами, выжидательно глядел на писаря.

— Не заигрывай со мной! — отмахнулся тот. — Ты не [216] в моем вкусе. Охотно верю, что ты старый профессионал и в Освенциме промышлял тем же. Но не рассказывай мне сказки, что ты вывез это приданое из Освенцима. Кто тебе его шил и сколько оно стоило?

Берл захныкал.

— Спросите хоть герра Карльхена, он вам подтвердит, что я говорю чистую правду...

— Не хнычь! — проворчал писарь. — Я поговорю с твоим капо. Шапочку оставь здесь. Попадешься в ней Дейбелю — схватишь двадцать пять горячих, и придется тебе на пару недель прикрыть свое ремесло... Проваливай!

Юноша утер кулаком глаза, снял шапочку, положил ее на край стола и, понурившись, поплелся из конторы.

Зденек сперва очень обрадовался. Значит, не ему одному противен этот Берл. Зденек хотел было рассказать Эриху, как застал вчера юного франта за примеркой и как «отбрил» его, но тотчас спохватился. «Наушничать?! Да что это со мной такое? Никогда я не был ябедой и в школе терпеть не мог подлиз. Зачем же мне пользоваться неудачей Берла и быть наушником у писаря? Неужто я пал так низко? Неужто я готов угодничать и забыть о собственном достоинстве?»

— А ты чего уставился? — накинулся на него писарь, тон у него был ничуть не приветливее, чем в разговоре с Берлом. — К тебе это тоже относится. Если ты, став проминентом, зазнаешься и начнешь заказывать себе франтовскую одежду, вылетишь отсюда как миленький. Пижонов я не потерплю. В лагере не хватает одежды. Просто преступно губить куртки, делать из них шапочки. Ага, у тебя уже повязка на руке! Кто тебе это позволил?

«Писарь прав, — сокрушенно подумал Зденек. — Дурацкий маскарад с повязкой я затеял, собственно, назло Берлу. Чтобы показать этому мальчишке, что я важная персона. А по сути дела, я самый обыкновенный осел».

Он протянул руку к левому рукаву и хотел снять повязку. Вчера он провозился с полчаса, расписывая ее, и теперь ненавидел себя за это. Долой эту тряпку!

— погоди, — остановил его Эрих, — не снимай! Писарю как раз надо ходить с повязкой. Я тебя браню не за то, что ты ее надел, а за то, что сделал это без моего разрешения. Покажи-ка, что на ней намалевано.

Зденек повернулся так, чтобы можно было прочитать написанное по-немецки слово «Писарь». [217]

— Право, герр Эрих, я предпочел бы ее снять. Она мне не нужна.

— Оставь, — распорядился глава шрейбштубы. — Правильнее, конечно, было бы написать «Помощник писаря». Писарь-то ведь я! Но раз уж эта повязка сделана, носи ее с богом. А вот кроить из курток матросские шапочки я тебе не позволю. Не ходить же людям раздетыми ради того, чтобы проминенты могли франтить.

Кто-то робко раздвинул занавеску, отделявшую заднюю часть конторы. Вошел Бронек, через плечо у него висела на шнурках обувь Эриха и Хорста. Запас был изрядный: две пары спортивных ботинок, четыре пары высоких шнурованных сапог и три пары башмаков. Бронек выглядел, как старьевщик на базаре.

— Герр писарь, — сказал он озабоченно. — Я как раз собирался выйти из конторы и хорошенько вычистить всю вашу отличную обувь. Но сейчас я услышал — случайно, против своей воли, ведь вы говорили так громко, — что в лагере не хватает одежды и обуви. Так лучше, пожалуй, не выносить их, а? Или выносить по одной паре, чтобы не бросалось в глаза?

Писарь бросил на него злобный взгляд.

— Проваливай! — гаркнул он.

Сказал все это Бронек по простоте душевной или е ехидством? Эриху было неясно.

— Чисть обувь, где хочешь, понятно? — продолжал он. — Сколько обуви у писаря или старосты лагеря, до этого никому нет дела. И если ты думаешь, что можно подпускать мне шпильки, так я вот обую один из этих сапог да дам тебе такого пинка в зад, что вылетишь из конторы!

* * *

Писарь куда-то вышел, Зденек заглянул за занавеску. Бронек застилал там койки.

— Герр писарь желает чего-нибудь?

— Нет, ничего, только поговорить с тобой. Мне очень понравился твой трюк, со всей этой обувью.

— Вы, видно, смеетесь надо мной?

— Да нет же. Мне кажется, я тебя правильно понял.

Бронек перестал работать и повернулся к Зденеку.

— А я вот не знаю, понимаю ли вас, как надо. Видимо, я сделал страшную глупость, не зря герр Эрих так рассердился. [218]

Зденек колебался. Поляк говорил с таким невинным видом, что в самом деле было неясно, понимает ли он, как здорово все это получилось.

— Мне показалось... — начал Зденек и не договорил.

— Что вам показалось, герр писарь?

Зденек махнул рукой и пошел обратно к столу.

— Слушай-ка, не зови ты меня герр писарь. Ты же слышал, что я только помощник писаря. Я такой же, как и ты.

— Нет, не такой, — парень покачал головой. — У вас на повязке написано «Писарь», а это для меня свято.

«Швейкует, — подумал Зденек, — определенно швейкует! Сперва поддел Эриха, а теперь меня».

— Слушай, приятель, — улыбнулся он, — зачем ты проезжаешься насчет этой проклятой повязки? Я не собираюсь строить из себя проминента, в конторе я такой же нуль, как и ты. Меня зовут Зденек, и если ты будешь называть меня иначе, я всерьез обижусь.

В светлых кошачьих глазах Броника мелькнула веселая искорка.

— Я так и подумал, когда слышал ваш разговор с герром Эрихом. Может, и вправду несправедливо ставить вас на одну доску со всеми этими... важными

шишками?

Зденек решительно кивнул.

— О герре писаре вы такого же мнения, как я? — помедлив, спросил Бронек.

— Бывают хуже, — сказал Зденек. — Но и этот не сахар.

— По-моему, тоже, — кивнул Бронек. — Но арбейтдинста, герра Фредо, вы не причисляете к этим господам?

Зденек кивнул.

— Нет, с ним все в порядке.

— На этот счет мы, стало быть, тоже сходимся, господин Зденек, — неторопливо сказал Бронек, и выражение его глаз на мгновение изменилось.

В контору вошел блоковый из шестнадцатого барака с рапортничкой об умерших и прервал разговор новых друзей. Помощнику писаря пришлось вернуться к картотеке. Но теперь на столе было уже два ящичка, и Зденек впервые переложил карточку умершего из картотеки живых в новый ящик, который только что принес Берл, в картотеку мертвых. [219]

На стройке было еще оживленнее, чем обычно. Молнией разнеслась весть, что работающие получают сегодня лишнюю порцию картошки, «Nachschub», прибавку, о которой мечтает каждый хефтлинк. Кюхеншеф Лейтхольд утром объявил об этом в кухне. Там Хорст и узнал о прибавке. Тщательно причесавшись, он явился туда, чтобы с разрешения эсэсовца вручить Юлишке повязку «Капо кухни».

Новость о прибавке с обширными дополнениями о черных глазах и прочих прелестях главной кухарки Хорст шепотом передал проминентам, а от тех она дошла до «мусульман». «Сегодня будет «Nachschub»!

— Признайся, — сказал Гонзе Мирек и оперся о кирку, — что ты знал об этом с утра. С чего бы ты иначе прибежал на работу. Все распроклятая жратва, а?

Гонза улыбнулся. Лучше, пожалуй, не разубеждать ребят, пусть думают, что Мирек угадал. Или рассказать им о разговоре с Фредо?

— Известное дело, — сказал кто-то из барака Гонзы. — Задаром мы концлагеря не строим. Вот за горсть картошки — это другое дело...

В словах товарища был горький упрек. Гонза обернулся.?

— Ты его усердно строил и без картошки. А я не хочу, чтобы ты один был участником такого дела. Когда-нибудь окажут, что это был коллаборационизм, таж по крайней мере будем все причастны к нему...

— Бросьте ссориться! — проворчал Мирек, уже жалея, что начал щекотливый разговор. -Скажите лучше, не знает ли кто из вас, что это там за желтое здание? Мы ведь и представления не имеем, в какой части Баварии находимся. А надо бы знать...

Никто из чехов, работавших на стройке, не мог ему ответить. Все взгляды обратились в ту сторону. Освещенное мягким светом осеннего солнца, вдали виднелось своеобразное желтоватое здание, затерянное среди синих гор.

— Герр Карльхен, — обратился кто-то к проходившему мимо капо, — не скажете

ли вы, что это такое?

— А ты не знаешь, раззява? — усмехнулся тот. — Это же ландсбергская крепость. Священное место, где наш фюрер написал книгу «Моя борьба». Полное название: Ландсберг на Лехе. [220]

Взоры чехов-землекопов теперь чаще обращались на крепость. Так вот он, Ландсберг!

— Гитлера посадили сюда за решетку после неудачного путча в 1923 году, не так ли? — сказал Мирек. — Но для него здесь, видно, устроили санаторий, а не тюрьму, если он смог написать такую книжищу. Если бы с ним поменьше церемонились и подольше подержали в тюрьме, нам, может быть, не пришлось бы сейчас сидеть тут.

— Погоди, погоди, — проворчал Гонза Шульц, и его морщинистое лицо стало серьезным. — Гитлер и те господа, что спустили его с цепи, это одно, а то, что мы сейчас сидим тут, — совсем другое дело, и виноваты в этом мы сами.

Мирок оцетинился.

— И это говорит чех!

— Чех, — сказал Гонза. — Именно чех. Если бы мы у себя на родине действовали правильно, то могли бы чихать на то, что где-то существует бесноватый Адольф.

— А что мы могли сделать против немцев? Если злой сосед не оставляет тебя в покое, ты можешь вести себя, как овечка, — все равно не поможет.

— Хорошая мудрость! — вставил Рудла, стоявший рядом с Гонзой. — А кто сказал, что следовало быть овечками? Достаточно было навести у себя дома порядок, приглядывать за собственным правительством и за господами офицерами. Если бы во время войны в Испании мы понимали...

— Если бы да кабы! — передразнил его Мирек. — Хоть бы мы носом землю рыли, немцы все равно напали бы на нас. Слышал ты, на какой реке лежит вон та крепость? Ландсберг на Лехе. Название Лех тебе ничего не говорит [14](#)? Видно, когда-то и эти места были наши. А потом нас оттеснили за Шумава. Теперь у нас оттягали еще кусок. История повторяется! Таковы уж немцы, воевать они умеют, вождей своих слушаются беспрекословно. Вон слышали, олух Карльхен даже в концлагере несет чушь о священном месте, где его фюрер писал книгу... Куда нам против них! Будь у нас дома в тысячу раз больше порядка, все равно они нас в покое не оставят. [221]

— И не болит у тебя язык? — сказал Гонза и тоже оперся о лопату. — Тебя, Мирек, за что посадили? За участие в «Соколе»? А скажи всерьез: ты больше ничего не знаешь о немцах?

— Мне и этого хватает.

— Малым же ты довольствуешься! И в лагере ты ничему не научился. Послушать тебя — для нас вообще нет никакой надежды: или нацисты истребят нас в лагере, или же, если они проиграют войну, все равно со временем нападут на нас снова и тогда ликвидируют окончательно. Так, что ли?

Мирек ухмыльнулся.

— Нет, Гонза, так я не думаю, — тихо сказал он. — Эту войну они проиграют. А

мы должны позаботиться о том, чтобы они никогда уже не смогли начать новую. Надо собрать их всех и... — он поднял лопату и с силой вонзил ее в землю.

— Истребить? Восемьдесят миллионов человек? — Гонза покачал головой. — Ты был бы еще похуже Гитлера.

Мирек оскалил зубы.

— Да, был бы, ну и что ж? Если не мы их, то они нас. Так уж лучше мы их.

— Кто бы подумал, что ты такой царь Ирод! — усмехнулся Ярда. — Хорошо еще, что я знаю, какой ты на самом деле. Ты ведь вечно вздыхаешь о жареной говядине, морковочке, шпинате... Это у тебя лучше получается.

Мирек сердито отвернулся от него и спросил Гонзу:

— А можешь ты предложить какой-нибудь другой выход?

— Могу, — сказал Гонза и снова взялся за работу. — Но об этом мы поговорим вечером. Вон поляки уже нам машут, ругаются, что они работают, а мы нет. Пока ты будешь считать, что войну изобрели немцы, выхода не найдется, Мирек. Вот ты привел в пример Карльхена. А возьми нашего капо Клауса, он ведь тоже немец. У него такой же красный треугольник, как у тебя, и он никогда никого не ударил. Ты пошевели мозгами, подумай, почему происходят войны и кому они выгодны, тогда может, додумаешься и до того, как сделать, чтобы их не было... Вечером я приду к вашему бараку, хотите? [222]

Капо Клаус, о котором упомянул Гонза, был старый социал-демократ, один из лучших друзей Вольфи. Среди проминентов оба они да еще блоковый Гельмут составляли тройку «красных» немцев, которых никто в лагере не ставил на одну доску с тринадцатью «зелеными».

Клаус, в прошлом рыбак, человек с большими узловатыми руками, до сих пор покрытыми шрамами и мозолями от канатов и сетей, беседовал сейчас с французом Гастоном. Тот натягивал бечевку между колышками, отмечавшими углы будущих бараков.

— Ну, что ты скажешь о девушках? — осведомился Клаус. — Присмотрел уже какую-нибудь? Пойдешь в сумерках к забору?

— Ты, стало быть, тоже из тех, кто считает, что французы думают только о юбках? — усмехнулся Гастон.

— Скажешь, это неправда? — подтолкнул его рыбак. — Все французы бабники.

— В самом деле? — парижанин пожал плечами. — Ты, наверное, удивишься, когда я тебе скажу, что я думаю только об одной. Она ждет меня дома, и я на ней женюсь.

Немцу не верилось, и он спросил, как ее зовут. Гастон произнес имя, звучавшее вроде «Соланж».

— Как? — переспросил Клаус. — А ну-ка, напиши.

Француз вытащил из земли колышек и большими буквами написал на мокром снегу: SOLANGE.

Клаус рассмеялся:

— Ты меня не разыгрывай. Такого имени нет.

— Есть, — настаивал Гастон, все еще сидя на корточках. — А что тебе в нем не нравится?

— So lange! Ведь это значит по-немецки «так долго». Разве ты не знаешь?

Француз встал.

— Мне это никогда не приходило в голову. Но ты прав. В самом деле, как странно, что мою девушку зовут «Так долго».

Рыбак хотел, было, сказать, что это не только странно, но и печально, очень печально. Но промолчал. «Так долго» не выходило у него из головы. «Так долго»? Его жену в домике у моря зовут Ирмгард. Он не видел ее уже семь лет. So lange!.. Клаус поглядел в сторону кухни; двое девушек вынесли большую лохань. Что-то сейчас делает Ирмгард? Может быть, она взяла в дом [223] другого мужчину, чтобы прокормить детей? Она не писала Клаусу даже три года назад, когда все заключенные еще получали письма. Здесь, в Гиглинге, никто не получает ни посылок, ни писем. И Клаус может уверять себя, что, наверное, Ирмгард написала бы, если бы было можно... So lange!

Клаус отвел взгляд от кухни и снова толкнул Гастона в бок.

— Скажи, как она выглядит... эта твоя... как бишь ее звать? — И он показал на буквы в талом снегу, уже совсем неразборчивые.

— Соланж, — мягко сказал француз. — Она очень красивая девушка. Глаза у нее большие, умные, и она почти никогда не плачет... — И вдруг из его смеющихся глаз закапали слезы.

— Хорош парижанин! — проворчал Клаус и больше не расспрашивал Гастона.

* * *

«Незавидное у меня положение в кухне», — думал Лейтхольд. Он был здесь один среди двух десятков девушек и двух мужчин. Здоровенный повар Мотика всегда был вежлив с эсэсовцем и даже относился к нему как-то бережно, словно к хрупкой вещи, которую легко сломать. И все же Лейтхольду становилось не по себе, когда к нему приближалась большая лоснящаяся физиономия Мотики. И если даже Мотика не обращался к нему, а молча и сосредоточенно занимался своим делом, все равно Лейтхольда приводил в содрогание один вид его бычьей шеи, плеч и мускулистой спины, выглядывавшей из-под грубого фартука. Еще неприятнее - если только это возможно — был глухонемой коротышка Фердл. Рапортфюрер уверял Лейтхольда, что это совершенно безвредный, чуждый политики человек, который попал в лагерь за сексуальное убийство семилетней девочки. «В кухне он отличный работник, вот увидишь. Бояться его нечего, он смирный кретин».

Лейтхольд действительно не боялся Фердла, но тем большее чувствовал к нему отвращение. «А что если до сих пор он вел себя примерно только потому, что в лагере не было женщин?» — спросил он Копица. [224]

— Ах, вот что! — засмеялся тот. — Ты думаешь, что он может совратить и пристукнуть одну из венгерок? То-то была бы потеха! Но не бойся, ничего такого не случится. У нас в лагере немало убийц, и все они ведут себя смирно.

Другой — и самой трудной — проблемой для Лейтхольда были, конечно, девушки.

Не доведись ему выслушать из уст Копица столько советов и угроз, его бы, наверное, не занесло, потому что по натуре он был застенчив, с женщинами настороженно учтив, а теперь, став инвалидом войны, вообще сторонился их.

Но вышло так, что Копиц и Дейбель делали ему большие глаза, подмигивали за столом и не давали Лейтхольду покоя сальными шуточками. Потом Рассхауптиха устроила этот злосчастный осмотр, да еще нарочно подсунула в кухню самых красивых девушек. Лейтхольд старался убедить себя, что надзирательница сделала это не по злему умыслу; она поступила вполне правильно: за воротами лагеря, в кухне СС или в казарме охраны, красивые девушки, разумеется, опаснее, чем здесь, где с ними общается только он, Лейтхольд, человек вне всяких подозрений. А может быть, Россхаупт хотела подвергнуть его искусу? Нет, нет, наоборот, ее решение означает полное доверие!

Но бедняге Лейтхольду теперь уже не совсем ясно, достоин ли он этого доверия. Стоило ему взглянуть на девушку, и она немедля представлялась ему а том виде, в каком он видел ее на этом проклятом осмотре. Встречаясь взглядом с Юлишкой, Беа или Эржикой, он чувствовал — или ему только казалось? — что в их взглядах просвечивает ужасающая интимность: мы, мол, уже знакомы, герр кюхеншеф. Помните, герр кюхеншеф, как мы трое вышли из-за занавески?..

Лейтхольд потрянул головой, стараясь отделаться от жгучего воспоминания, но не мог. Все в нем кричало: беги из кухни! Но он не решался. У него была нелепая уверенность, что стоит ему оставить без присмотра Мотику и Фердла с двадцатью девушками, как произойдет что-то невероятное, ужасное. Ему мерещилась бычья шея Мотики и коварный взгляд Фердла, блестящие кухонные ножи и колода для рубки мяса. На фоне всего этого маршировали двадцать нагих девушек, и в ушах Лейтхольда звучало Юлишкино щебетание «битташон»... [225]

Нет, нельзя оставлять их одних! Но хуже всего, что Лейтхольду так и неясно было, кого он охраняет и от кого. Обычно ему казалось, что надо оберегать девушек от этих двух страшных мужчин. Но иной раз «битташон» звучало в его ушах так назойливо, что он склонялся к мысли: нельзя бросить Мотику и Фердла на растерзание стольким девушкам!

И он оставался на своем посту, стараясь ни с кого не спускать глаз. Но каждый раз оказывалось, что в кухне полнейший порядок и работа идет как по маслу; Мотика возился со своими котлами, ни с кем не разговаривал, почти все время стоял спиной ко всем остальным. Фердл тоже занимался своим делом, а в свободные минуты играл, как ребенок, с тридцатью чайниками: начищал их и расставлял по ранжиру. Девушки ходили мимо Лейтхольда, опустив глаза, или вообще обходили его подальше, сидели над лоханями с картошкой, мыли пол, чистили котлы, тихо разговаривали. Лишь изредка до Лейтхольда долетало какое-нибудь венгерское слово или короткий смешок.

«Здесь попросту безгрешное райское спокойствие, — говорил себе Лейтхольд. — А у меня необузданная фантазия. Все эти грозные опасности и ужасающие сцены — плод моего неумеренного воображения. И откуда оно у меня, о господи? Откуда такая болезненная фантазия? Мамаша, бывало, смеялась надо мной, какой я застенчивый дурачок. А сейчас мое воображение кипит, как котел под парами, всюду я вижу только распутство и кровь. Это мне внушили Копиц, Дейбель и Россхауптиха, чтобы погубить меня, не выпустить живым из этой клетки! Но я не

сдамся, не сдамся!» — мысленно твердил Лейтхольд и, повернувшись направо кругом, ковылял в свою каморку в глубине кухонного барака. Там стояли стол, стул и железная койка для ночных дежурств. Громко хлопнув дверью, кюхеншеф сажился, уставив взгляд на верхний край перегородки, не доходившей до потолка, общего с кухней. Но сколько он ни прислушивался, в кухне все оставалось без перемен. Девушки вполголоса разговаривали, не громче и не тише, чем прежде, Фердл звякал чайниками, Мотика топтался у котла. Минут через десять Лейтхольд, не выдержав, быстро отворял дверь и выглядывал в кухню: ничего! Все, как и раньше, стояли или сидели на своих местах. [226] Ни одна голова не поворачивалась в его сторону, когда он снова ковылял к своему месту.

Однажды ему вдруг стало нестерпимо жутко от сознания своего одиночества среди стольких непонятных ему людей. Сам не зная зачем, он закричал: «Кюхенкапо!»

Из группы девушек выскочила Юлишка, сверкнула глазами и откликнулась: «Битташон?»

«Думает она об *этом* или не думает, — терзался Лейтхольд. — Думает! Не может же все это существовать только в моем воображении. Тогда, значит, я просто какой-то извращенный тип!»

Юлишка подошла и остановилась на почтительном расстоянии. Надо что-то сказать ей, но что? Лейтхольду казалось, что он уже наполовину спятил, но не хотелось, чтобы это поняли и другие. Нельзя подзывать Юлишку просто так, без причины.

— Кюхенкапо, — сказал он как можно спокойнее, — назначьте двух женщин для присмотра за раздачей добавочных порций картофеля. Надо позаботиться о том, чтобы его получили только те, кто действительно работал на стройке. *Verstanden?*

— *Jawohl!* — откликнулась Юлишка, стоя навытяжку. — Вы не возражаете против Эржики и Беа?

Лейтхольд согласился и покраснел, потом повернулся направо кругом и опять заковылял в свою каморку. Там он закрыл дверь, уселся за стол и уставился в одну точку. Нет, это не только мое воображение! Юлишка, Эржика, Беа — они такие!

7.

Ночь была звездная, ясная. На сторожевой вышке торчал часовой и тихо напевал: «*Oh du schönes Sauerland!..*» <<«О ты, чудесная и милая страна!..» (*нем.*)>

В бараках погас свет, люди засыпали тревожным сном. Каждый как зеницу ока берег одежду и обувь, сложенные под головой.

Почти все заключенные страдали новым недомоганием. Уже несколько ночей подряд и особенно сегодня, после картошки на ужин, — у многих мужчин не раз возникала острая потребность помочиться. Они просыпались от почти болезненного позыва, быстро вставали, [227] одевались, обувались и выбегали из барака. До уборных было довольно далеко, иной раз сто — сто пятьдесят шагов по снегу. С каждым шагом усиливалась болезненная резь. Люди как сумасшедшие пускались бежать со всех ног и все же не добежали...

Это было мучительно и постыдно, а помочь было нечем. Врачи пожимали плечами, не понимая, в чем дело: то ли простуда, то ли авитаминоз.

* * * Проминенты из службы порядка следили за тем, чтобы около бараков не было нечистот. В лагере было распространено убеждение, что в условиях скученности всякая неопрятность вызывает тяжелые заболевания. Ордунгдинсты палками гнали «мусульман» в уборные. Был застигнут с поличным и чуть не забит до смерти заключенный, попытавшийся после обеда тайком унести миску, чтобы использовать ее как судно.

Уборных не хватало. Грязь и снег, налипшие на обувь, превратили их в топкие зловонные клоаки. Дрожа от холода, заключенные бежали обратно в бараки, снимали с ног грязную обувь и опять укладывали ее под голову... Спали они на нарах почти вплотную, так что эти ночные отлучки беспокоили и соседей. А только заснешь, снова мучительная резь, и опять вставай, одевайся, обувайся и беги в уборную. Раз пять, а то и восемь за ночь.

В лазарете у старшего врача все еще горел свет. Медики собрались вокруг стола, Зденек тоже был здесь, он зашел узнать, как чувствует себя Феликс, и засиделся, беседуя с врачами.

Оскар стоял у окна и мрачно смотрел на звезды.

— Отличная погода, а? Снегопад прекратился, видимо, будет оттепель... А нашему лагерю от этого даже хуже. Все время нам не везет, все у нас не ладится. Зима еще только на носу, а погода почему-то почти весенняя. Фредо вербует добровольцев на стройку, словно это и впрямь доброе дело, полезное для нас. А ведь оно только ухудшит наше положение. Когда заключенных будет вдвое больше, жить станет вдвое хуже, если даже у всех будет крыша над головой. Строят бараки, а уборных не строят, люди на стройке работают изо всех сил, а калорий получают очень мало. Говорят: а прибавка? Но какая же это прибавка? Сокращают обычную порцию, чтобы выдать [228] прибавку работающим. Ослабевших и больных бьют больше прежнего. Или возьмем девушек. На работу в кухню они, бедняжки, шли сегодня с песней. Но и это фальшь. На вид они здоровы, а на деле это не так. Шими-бачи установил, что еще с Освенцима у них нет месячных. Сама природа, при всей своей стихийной ненасытности, не хочет знаться с нами, не допускает, чтобы здесь были зачатые дети. Она вычеркнула нас из своих списков.

— Да брось ты, Оскар, — возразил маленький Рач. — Не так уж все страшно. А если даже и страшно, так что же, сидеть и скулить?

— Вот именно, я уже не могу сидеть и молча глядеть на все это! — проворчал Оскар и упрямо выпятил подбородок. — Я врач и не могу видеть, как здесь, в центре Европы, в стране, которая гордится своей техникой, электрификацией и гигиеной, искусственно созданы ненормальные условия, в которых не смог бы жить даже первобытный человек. Завтра пойду к Копицу и выскажу ему все.

— Надеюсь, тебя к нему не пустят, — вздохнул Шими-бачи. — Это могло бы стоить тебе...

— Чего, головы? — сказал Оскар. — А не думаешь ты, что мы все равно не выживем? Сейчас наши люди страдают всего лишь каким-то пустячным расстройством мочевого пузыря, а погляди, что уже творится. А если грянет дизентерия? Или сыпной тиф? Ведь в лагере уже появились вши. И все это только наши внутрिलाгерные проблемы. А кроме того, с понедельника мы должны послать две с половиной тысячи человек на внешние работы. Не знаю, что это за

работы, но будь это даже восьмичасовой рабочий день и не слишком утомительная дорога, подумай, на что люди будут похожи через неделю. Кругом снег, а у них даже нет верхней одежды. А наступят декабрьские морозы, тогда что?

Имре пожал плечами.

— Допустим, ты попадешь к Копицу и выскажешь ему все это. Как ты думаешь, что он тебе ответит?

— Вот я и хочу услышать его ответ. Я знаю, Копиц небольшое начальство и сам не сможет ничего сделать, даже если я сумею его убедить. Но я хочу нагнать на него страху. Я ему обрисую обстановку в лагере так, что он пошлет рапорт в Дахауи попросит помощи у кого-нибудь повыше. Немцам не может быть безразлично, [229] если в паре километров от Мюнхена возникнет очаг эпидемии.

Шими-бачи с сомнением покачал головой.

— Ты все еще видишь другую, не сегодняшнюю Германию. Немцам уже давно не до гигиены, электрификации и всего прочего. Писарь дал мне сегодня заглянуть в газету... Бомбы падают на города, люди живут в подвалах и канавах. Этой Германии, по-моему, совершенно безразлично, что делается в нашем лагере. Кто знает, не созданы ли у нас такие условия умышленно, чтобы мы все перемерли и избавили немцев от необходимости кормить нас?

— Неверно! — воскликнул Оскар. — Крематорий-то в Освенциме! Зачем же было посылать нам оттуда еще тысячу триста человек? Нет, мы нужны им не мертвые, а живые.

— Да, но на работе, а не в лазарете, — возразил Имре. — Для этого не стоило везти нас за несколько сотен километров. А если ты завтра скажешь немцам, что мы не в силах работать и только можем заразить их, знаешь, что произойдет?

— Пусть это мне скажет Копиц. Что может произойти? Есть только две возможности: или нас прикончат, или нам помогут. Первого я не слишком опасуюсь: истреблять нас здесь не так удобно, как в Освенциме. А для нас это небольшой риск, потому что мы вырем и без их вмешательства. Я думаю, вернее надеюсь, что вторая возможность более вероятна: нам помогут!

— Какая же это будет помощь?

— Тут опять есть два варианта... как в том анекдоте. Первый — это рабочий лагерь. Для того чтобы он существовал, нужно лучше одеть заключенных, лучше кормить их, лучше с ними обращаться. Другой вариант — это лазарет: оставить всех узников в покое, не гонять их ни на работу, ни на сборы и хотя бы чуточку улучшить их условия жизни.

— Извини меня, Оскар, но ты фантазер, — сказал Имре. — Ты забываешь, что сейчас октябрь сорок четвертого года и что мы в концлагере.

— Какое мне до этого дело! Мой долг — спасать людей. Время и место не играют роли. Чтобы остаться в живых, заключенные должны получать известный минимум. За это я буду драться. Покойной ночи! [230]

Когда Зденек шел из лазарета в четырнадцатый барак, где он еще жил, на ограде вдруг погасли огни и со стороны комендатуры послышался сигнал воздушной тревоги. Зденек приоткрыл дверь своего барака. На него пахнуло нестерпимым

смердом душной землянки, где в темноте, беспокойно ворочаясь, спят пятьдесят человек с пятьюдесятью парами грязной обуви под головой. Зденек повернулся и вышел из барака в темную улочку.

Было довольно светло, и он ясно увидел, как на вышки поднимаются усиленные сторожевые наряды. На фоне неба виднелись силуэты пулеметов, нацеленных прямо вниз, на лагерь. Писарь в конторе говорил, что это мера на случай, если произойдет воздушное нападение с целью освободить заключенных. Стоит бомбе повредить ограду или вражеским парашютистам высадиться вблизи, чтобы захватить лагерь, охрана откроет огонь по заключенным. Никто из них не уйдет живым...

Зденек прижался к передней стене барака и прислушался. Близился шум большой группы самолетов. Где-то уже стреляли зенитки, потом грохнули бомбы. В проходе между бараками металась тень — заключенные бежали то к уборным, то обратно. Часовые на вышках не обращали на них внимания. Зденек тоже побежал вдоль барачных, сам не зная куда. Лишь бы не в свой барак, лишь бы не спать! Может быть, все-таки будет налет на наш лагерь?..

Но гул самолетов прошел стороной. Когда Зденек пробежал мимо немецкого барака, чья-то рука ухватила его и прижала к стене.

— Что ты тут делаешь? Не видишь разве, что сейчас воздушная тревога? — гаркнул капо Карльхен. Тут он разобрал, кого держит за рукав. — Ага, герр писарь собственной персоной! Очень хорошо, что я тебя сцапал. Повязку нацепил, ишь ты! Куда ты сейчас пробираешься? К женскому лагерю? Сознаться!

Здемек дернулся, но не смог вырваться.

— Неправда! Пустите меня!

Карльхен удовлетворенно усмехнулся.

— Ах, неправда, так, так! Ты, значит, не занимаешься, чем не велено? А на других доносишь?

— Не знаю, о чем вы... Пустите! [231]

— Молчи, сволочь! Как ты со мной разговариваешь! На твою повязку мне наплевать. Вот! — свободной рукой он сорвал повязку с рукава Зденека.

Зденек взглянул на нее. Ах, эта повязка, эта проклятая повязка, пропади она пропадом! Но ведь Эрих сказал, что надо ее носить.

— Отдайте! Я ношу ее по приказанию старшего писаря, — злобно крикнул он.

Карльхен помахал повязкой у него перед носом.

— Ишь ты! Отдать? А почему твой писарь не отдает шапочку моего Берла?

— Спросите его сами, откуда я знаю.

— Не знаешь? А кто наклеузил Эриху о том, как Берл примерял новое платье? Кто натравил Эриха на моего Берла?

Этого Зденек не делал. У него, правда, было такое желание, но он подавил в себе злорадное недоброжелательство к Берлу. Именно поэтому он сейчас почувствовал себя незаслуженно обиженным.

— Я наклеузначал? Глупость! Скажете тоже!

Карльхен быстро ударил его по лицу. Удар был нанесен левой рукой, в которой капо еще держал повязку, но все же у Зденека пошла кровь носом.

— Пустите! — яростно закричал он и рванулся так сильно, что выскользнул из рук Карльхена. Тот хотел ударить его ногой, но промахнулся.

— Проваливай! — крикнул он. — И если я во время тревоги еще раз поймаю тебя около этого забора, пристукну! Повязку отдам в обмен на шапочку, иначе тебе ее не видать. Так и скажи своему писарю!

Зденек побежал в уборную умыться, потом отправился в барак спать, но не спал почти всю ночь, изобретая наивные планы мести Карльхену и готовясь утром рассказать писарю об этой стычке.

* * *

Около женского лагеря в ту ночь действительно мелькнуло несколько фигур. Слева за конторой, около уборной, небольшой участок забора был невидим часовому с вышки. Первым тут появился Хорст. Он поджидал, пока поблизости проходила какая-нибудь девушка, и шепотом окликал ее: «Эй, фрейлейн, подойдите сюда». [232]

Две или три девушки не вняли этому зову и, ускорив шаг, скрылись в бараках. Но одна нерешительно подошла.

— Кто вы? Что вам нужно?

— Я староста лагеря и хотел бы поговорить с вашей старостой.

— С Илоной?

— Да. Позовите ее сюда. Скажите, важное дело.

Девушка кивнула и побежала к бараку. Через минуту вышла Илона, на ходу повязывая платок.

— Сюда, — прошептал Хорст. — Сюда, пожалуйста.

— Что-нибудь случилось? — спросила она, подойдя к забору.

— Не беспокойтесь, ничего. Я только хотел поговорить с вами. Позвольте представиться: староста лагеря Хорст.

— Так вы меня вызвали просто так? Беа всякого дела? — она была явно недовольна.

— Я думал, что вы будете довольны. Мы оба ответственны за своих людей. У нас найдется о чем поговорить... Общие проблемы...

— Побеседовать на такие темы я всегда согласна. Но если вы думаете, что...

— Отнюдь нет, фрейлейн! Вы несправедливы ко мне. А я для вас кое-что принес. Разрешите вручить вам повязку, я ее сам сделал.

— Очень мило, спасибо. Не знаю только, нужна ли она мне. Я никуда не выхожу из нашего лагеря, а девушки меня и так знают.

— Не в этом дело, фрейлейн. Как опытный заключенный, скажу вам, что повязка прежде всего защитит вас от эсэсовцев. Таким мелочам они придают большее

значение, чем вы думаете.

— Очень на них похоже. А вы политический?

Это был неприятный вопрос. Хорст хотел было соврать, но потом сообразил, что Илона рано или поздно увидит его днем и заметит цвет треугольника.

— Почти. Я немец, мне не хотелось служить в армии, ну, и я предпринял кое-что...

— Что же именно?

— Вы хотите знать все сразу! Мы ведь только что познакомились... Можно бы поговорить о чем-нибудь поинтереснее. [233]

— Мне пора идти... Вы, видно, зеленый, а? Много зеленых в этом лагере?

«Странная женщина, — подумал Хорст. — Я чувствую себя, как на допросе. А ведь я не кто-нибудь, а первый человек в лагере».

Он разгладил усы, хотя в темноте их все равно не было видно, и проворчал недовольно:

— Не так я представлял себе нашу первую встречу. Люди в нашем положении должны быть выше предрассудков...

— Доброй ночи, — быстро сказала Илона. — Если вы меня вызовете по какому-нибудь важному делу, которое касается всех девушек, я охотно приду. Но только по делу. Всякие другие встречи — лишний риск. Еще раз спасибо за повязку.

И она убежала.

Хорст в одиночестве остался торчать у забора и с досады кусал себе губы. «Однако же, — думал он, — я не мальчишка, чтобы приунуть от первой неудачи и упустить такую редкую возможность». И как только от барака к уборной прошла женская фигура, он снова позвал шепотом:

— Фрейлейн, на минуточку. Вызовите, пожалуйста, старшую по кухне. Важное дело!

Через минуту из барака вышла темная фигура. Хорст усмехнулся и оправил на себе куртку.

— Добрый вечер, — начал он, но вдруг увидел, что это та самая девушка, к которой он сейчас обращался.

— А почему не пришла Юлишка? — разочарованно прошептал он.

— Скажите мне все, что надо. Я ей передам.

«К черту... — подумал Хорст, — вот еще не хватало!» Но потом он испытующе взглянул на девушку за забором и увидел силуэт стройной высокой фигуры.

— Тогда подойдите поближе, — прошептал он. — Как вас зовут?

— Беа, — тихо сказала она. — А вы кто?

— Позвольте представиться: староста лагеря Хорст.

— В самом деле? — прошептала девушка с явным почтением. — Сам староста лагеря?

— Для вас я просто Хорст, — сладким голосом произнес он и прижался к забору.

— Подойдите же поближе! [234]

* * *

Обершарфюрер Дейбель вернулся на рассвете с грузом пальто и шапок. Вместе с проминентами Паулем и Гюнтером он застрял на ночь в Дахау, пришлось ждать автомашину. Там они отсиживались во время воздушного налета, а утром проехали через Мюнхен. Было что порассказать!

Дейбель, правда, приказал своим спутникам помалкивать, но все-таки сразу же после их приезда «зеленые» тайком собрались в немецком бараке, и Пауль с Гюнтером рассказали все, что узнали. Это сборище было знаменательно тем, что на него впервые не позвали писаря. «Он против нас, — объявил Карльхен. — Ему всякий политический дороже».

— Но, друзья мои, — возразил Хорст, — не знаю, что вы против него имеете? После меня он вторая персона в лагере.

Остальные сделали кислые мины, а Фриц сказал:

— У меня он сидит в печенках. Никто из нас не хотел бы прикончить Эриха, но показать ему, что мы о нем думаем, не мешает. Рассказывай, Пауль!

Пауль глубоко вздохнул, выпятил могучую боксерскую грудь и с важным видом оглядел собравшихся. Их было одиннадцать: четверка абладекоманды, затем Фриц, Хорст, Карльхен, санитар Пепи, один блоковый и двое ордунгдинстов. Не хватало Эриха и глухонемого Фердла, которого на такие сборища, разумеется, не звали.

Пауль поглядел на каждого в отдельности, потом с таинственным видом прищурил маленькие глазки и попросил приятелей придвинуться поближе.

— Первым делом о бомбежке, — начал он. — Такого налета вы, ребята, еще не видывали. Дахау в двух шагах от Мюнхена, вы не представляете себе, как все было слышно? А рано утром мы сами увидели разрушения. Целых кварталов в центре города как не бывало! Пришлось объезжать переулками, все главные улицы в развалинах. Гордость города — Либфрауенкирхе {15} тоже пострадала. Но все это пустяки в сравнении с той бомбой, которую я вам сейчас преподнесу: осведомленные люди в Дахау открыто говорят о том, что нас, зеленых, скоро выпустят из лагеря... [235]

— Что-о? — несколько ртов раскрылось, а Фриц схватил Пауля за плечо.

— Спокойно, спокойно! Nur die Ruhe kann es machen <Спокойствие — это главное! (нем.)> — с еще более важным видом произнес Пауль. — Что, разинули рты? Сам Альберт, капо из вещевого склада, оказал мне об этом. Мол, в главной комендатуре уже готов приказ; нас скоро отправят из лагерей, но не по домам, к мамашам, а на фронт. Там дела плохи, подбирают все резервы, дошла очередь и до нас. — Пауль сделал короткую паузу, остальные затихли и усиленно размышляли: хорошо это или плохо? Наконец Фриц распалился:

— Ну и что ж? Плакать нам, что ли? Это же замечательно, что нам дают возможность с честью... Ну-ка, взгляните в глаза друг другу и не моргайте, как мелкие воришки. Настоящий немец уже давно ждет этой минуты, он не хочет торчать здесь, в закутке, и ждать, пока другие выиграют для него войну. Если бы меня сейчас спросили, хочу ли я...

Карльхен метнул на него злобный взгляд.

— А кто тебя станет спрашивать? И вообще, не ори. Ишь, как загорелся. А все только потому, что на тебя взъелся Дейбель и теперь тебе здесь не по душе. Быть блоковым — этого тебе мало. Прежде тебе небось в лагере очень нравилось. Думаешь, на фронте тебе будет кто-то прислуживать, как здесь? Мало тебе, что ли, что бомбы падают рядом, хочешь, чтобы упали тебе на башку?

— Не хочу слушать таких разговоров, — сказал новоиспеченный патриот Фриц. — А без слуги я обойдусь легче, чем ты без Берла...

— Фрицек!

Капо размахнулся, но Пауль удержал его руку.

— Спокойствие, господа! — гудел он. — Сейчас не время для детских ссор! Карльхен прав: если нас призовут в армию, никто не станет спрашивать о нашем желании. Наденут на нас серые шинели, так же как когда-то надели вот эти полосатые «пижамы». И баста! Маршировать где-нибудь в тылах, на плацах или в казармах, нас не пошлют, для этого нам слишком мало доверяют. Нас сразу загонят на самые опасные участки, [236] чтобы избавиться от нас прежде, чем мы успеем выкинуть какие-нибудь штучки.

— Чепуха! — проворчал Фриц. — Зеленый треугольник не перейдет на нашу военную форму. Если от нас захотят избавиться, это можно сделать и тут. На фронте у нас будут те же возможности, что и всех других. Мы отличимся и докажем...

Хорст усмехнулся.

— Заткнись! Я уже отличился, и что толку?

— А разве тебе не хотелось бы снова носить орденскую ленточку. Я бы на твоём месте...

— Да бросьте вы спорить с Фрицем! — усмехнулся Карльхен. — Я-то его знаю получше вас. Он просто болтает, как попугай, то, что ему вдолбили в гитлерюгенде. А вот попадет в хорошую переделку... Взламывал ты сейфы, как я? Нет! Ты обкрадывал жидовские квартиры да пришивал старых жидовок, герой!

— Зато не валялся с жидочками, как ты! Разве это плохо, что я был так крут с этой швалью? Может быть, по-твоему, писарь будет прав, если прикончит Пауля, а?

Пауль приподнял густые брови.

— Кто это хочет меня прикончить, что ты мелешь?

Фриц напыжился.

— Ты выложил много новостей, а теперь я скажу тебе одну. Писарь знает, что это ты разбил морду тому чеху, и хочет доложить об этом в комендатуре.

— Этого он не сделает!

— Хотел сделать, но я его отговорил. И вообще я его отчитал за то, что он якшается с политическими, а с нами грызется, как собака. Поэтому-то я и согласился с Карльхеном, что не надо звать сегодня Эриха сюда.

— А ты не врешь, Фриц?

— Можешь не верить, — отрезал смазливый коротышка. — Но теперь, когда нам

предстоит отправка на фронт, тебе бояться нечего. Мы, зеленые, поднимемся в цене... хоть и не в глазах писаря. Комендатура будет беречь нас, чтобы в целости сдать призывной комиссии.

Пауль нахмурился.

— Эриху я этого не спущу. Он-то инвалид, у него резаное горло и астма, его на войну не возьмут. И глухонемого Фердла тоже. Нас тут одиннадцать человек, ребята, и этот призыв касается только нас. Теперь нам надо держаться особенно дружно. [237]

Все кивнули: Пауль, конечно, прав.

— А ты, Хорст, на чьей стороне? — спросил Карльхен. — До сих пор ты подлизывался к Эриху. Но когда ты станешь солдатом, плевать тебе на писаря и всю контору.

Хорст не был настроен так мрачно, как Фриц. Он все еще переживал ночное свидание у забора, ему виделась фигура молодой венгерки, слышался ее почтительный отклик: «Сам староста лагеря?» У Хорста было отличное положение: контора, вестовой; в лагере он был видной фигурой. И вот опять на фронт? Война была не по душе Хорсту, даже когда шло сплошное наступление. А теперь возвращаться на откатывающийся фронт? И замышлять здесь сейчас козни против хитроумного писаря? Быть заодно с самым свирепым сбродом лагеря против умнейшего человека, у которого всегда был верный нюх?

— Ну, скажешь, с кем ты, или нет? — резко и непримиримо спросил Фриц. — С сынами Германии или с пособниками большевиков?

— А что вы, собственно, собираетесь предпринять? — уклончиво спросил Хорст. — Если нас в самом деле пошлют на фронт, надо не портить себе последние дни в лагере. Что, плохо нам здесь живется? Не плохо. А если Эрих требует дисциплины...

— Дисциплины! — прервал его Карльхен и сплюнул с досадой. — Вот именно, я хочу хорошо провести эти последние дни и не позволю Эриху гадить мне... Слышали вы, что он готовит Паулю? А как он обошелся с моим Берлом, не знаете? Взял к себе в контору мусульманина, который теперь даже нос задирает. Этому надо положить конец.

Многие закивали головами: да, в этом есть доля правды.

— А кто донес на меня писарю? — настаивал Пауль. — Сам этот тип со сломанной челюстью?

— Нет, — сказал санитар Пепи. — Я как раз был поблизости, когда Оскар пытался выведать у него...

— Ах, значит, Оскар! — воскликнул Фриц, не упуская возможности натравить кого-нибудь на старшего врача.

Но Пепи покачал головой.

— Дай мне договорить. Этот тип с разбитой челюстью тебя не выдал, честное слово. Оскар от него ровным счетом ничего не узнал. [238]

— Как же это дошло до писаря? — вслух размышлял Пауль. — Я ни с одной живой душой не говорил об этом... Или все-таки говорил?

8.

Субботнее утро было таким же погожим, как накануне. Небо чистое, ясное, снегу убыло, на дорогах уже появилась слякоть. Девушки опять прошли с песней в кухню.

У Зденека стало легче на душе. Всю ночь он думал о том, как сказать Эриху об утере повязки. А утром, по пути в контору, он зашел в восьмой барак к Феликсу и увидел, как тот впервые открыл глаза и улыбнулся. Это хорошо! Это куда важнее всех осложнений с капо Карльхеном, которые в конце концов уладятся.

В немецком бараке тоже было приподнятое настроение. «Зеленые», правда, соблюдали уговор — никому не рассказывать о том, что они узнали вчера, но глаза у них повеселели. Пусть где-то там их ждет фронт или хоть сам ад крошечный, все равно мысль об уходе из вшивого Гиглинга была приятна. «Через пару дней, через пару дней!» — подмигивали они друг другу и радовались, что наступает приволье, можно не работать на стройке, пусть-ка этим занимаются те, кто остается в лагере.

Акции Пауля поднялись необычайно высоко, ведь он принес такую важную весть из Дахау. После объявления бойкота Эриху он стал едва ли не главой одиннадцати «зеленых». Пауль ухмылялся с торжествующим видом.

— Берл, поди-ка сюда, — крикнул он юному слуге Карльхена. — Окажи услугу дядюшке Паулю, приведи сюда парикмахера Янкеля. Скажи ему, что он нужен мне немедленно, пусть поспешит.

Янкель еще на вставал. Ящичек с инструментами лежал у него под головой, взгляд Янкеля был устремлен в одну точку. Он не спал вторую ночь. Первая ночь после припадка была совсем бессонной: Янкель, весь разбитый, ворочался на стружках и не мог уснуть. Но и в следующую ночь он почти не сомкнул глаз, потому что едва закрывал их, как ему начинала мерещиться боксерская физиономия Пауля с угрожающе нахмуренными густыми бровями и маленькими злыми глазками. Янкель вздрагивал всем телом, его бросало в жар, лицо стало еще более серым. Когда кто-нибудь рядом рассказывал о чудесной [239] операции и о челюсти, скрепленной проволокой, он затыкал уши и закрывал глаза — пусть думают, что он спит! — но тотчас же в ужасе открывал их: ему чудился Пауль, Пауль, уже, быть может, догадавшийся, кто выдал его!

Берл, войдя в барак, закричал:

— Эй, стрижем-бреем, вставай!

Янкель поджал колени к самому подбородку и не шевелился. Берл вскочил на нары и пнул Янкеля ногой.

— Не слышишь, что ли, цирюльник? Тебя вызывают господа из немецкого барака. Вставай!

— Вызывают? — пискнул Янкель и замигал. — Я же ничего не сделал!

— Вот именно, что ты еще ничего не сделал! — усмехнулся Берл. — Вставай! Думаешь, мы будем кормить тебя задаром? — Он нагнулся и стащил с Янкеля одеяло. Парикмахер сел, похожий на маленькую серую мышку с большим носом. Он узнал Берла, и его разбушевавшееся сердце стало биться немного спокойнее: это слуга герра Карльхена, а перед Карльхеном Янкель ни в чем не провинился.

— Куда мне идти? — тихо спросил он.

— За мной! — распорядился Берл. — И не забудь бритву. Пошли!

Для верности он еще раз пихнул парикмахера ногой в бок и с мальчишеской ловкостью соскочил в проход между нарами.

— Слушаюсь, — бормотал Янкель, натягивая брюки. — Я немного прихворнул, герр Берл, и сегодня хотел полежать. Но если господа требуют... Сейчас, сейчас, я мигом...

— Хватит болтать, пошли! — сказал Берл и подставил ножку какому-то «мусульманину», проходившему мимо. Тот чуть не упал, а Берл прикрикнул на него:

— Не видишь, куда прешь, дубина!

Наконец Янкель был готов, взял ящичек под мышку и поспешил за Берлом. Страх — ужасная вещь, но голод еще хуже. Разве можно сидеть, притаившись, как мышь, только потому, что тебе страшно? Ведь есть-то надо. Герр Карльхен всегда дает за бритье четверку хлеба. Вчера Янкель за весь день не заработал ни крошки. Как же не послушаться и не пойти по вызову к господам? А то, чего доброго, у него отнимут [240] эти отличные инструменты. Не-ет, бедный парикмахер не может позволить себе капризничать, как своенравная барышня. «Пожалуйста, герр Берл, можно и скорей, я не отстану».

В немецком бараке почти никого не было. Янкель огляделся в полутьме, но не увидел Карльхена.

— Эй! — крикнул ему Пауль. — Наконец-то ты!

Мышиное сердечко Янкеля опять бешено забилося. Хорошо бы убежать! Но было уже поздно.

— Ну, поди же сюда, чего ты уставился! — проворчал Пауль.

— Чего изволите? — испуганно сказал парикмахер и заставил себя подойти ближе.

— Прикажете побрить?

Пауль взял у него из рук кусок жести, оглядел в нем свою щетину и провел ручищей по щеке.

— Давно пора. А то я выгляжу, как твой жидовский дедушка. А? — Гигант выпрямился, раздвинул занавеску в глубине барака и сел к столу у окна. — Ну, за дело... Когда ты меня брил в последний раз?

Янкель не отвечал. Он робко оглядывался и наконец сказал:

— Вода? Тут нет воды...

— Есть! — отозвался проворный Берл, мило улыбнулся Паулю и поставил на стол кружку с водой. Пауль потрепал его по плечу.

— Еще что-нибудь? — осведомился Берл.

— Нет, можешь идти, — зевнул Пауль и расстегнул ворот. Берл вышел, занавеска за ним опустилась, немец и парикмахер остались одни.

Янкель смочил кисточку и стал намазывать физиономию Пауля.

— А все-таки, когда ты брил меня в последний раз? — сонно сказал тот. —

Сегодня суббота...

— Не помню, — прошептал парикмахер, намыливая страшное лицо, которое две ночи мерещилось ему во сне. Янкелю хотелось зажмуриться, но он не смел.

— Погоди-ка, — вспомнил Пауль, — не в то ли утро, когда пришел новый большой транспорт заключенных?

Янкелю не терпелось скорее кончить работу, он мылил клиента как одержимый, орудуя кистью вокруг рта Пауля, чтобы помешать ему говорить. Тот и в самом деле с минуту молчал. Янкелю казалось, что сердце у него переместилось в горло и бьется там, в этом [241] несчастном горле, ощущая всю боль, перенесенную Феликсом. Но Пауль не замечал волнения Янкеля и упорно перебирал цепочку воспоминаний.

— Ну да, — сказал он. — Это было тогда утром. Прихожу я из клозета и... — «Э-э, стоп, — мысленно прервал он себя. — О встрече с тем мусульманином лучше не говорить...» Заметив случайно ошалелый взгляд Янкеля, он гаркнул на него: — Ну, что еще? Почему не брешь?

— Слушаюсь, — пробормотал Янкель, машинально взялся за бритву, хотел было приложить ее к левой щеке клиента, но не смог, рука дрожала.

Пауль все еще ничего не замечал. Прикрыв глаза, он предавался воспоминаниям. Да, Янкель брил его после того, как он, Пауль, ударил мусульманина и разбил ему челюсть. Об этом лучше сейчас не говорить... Но неужели я действительно кому-нибудь сказал об этом? Часовой на вышке смеялся, но он, конечно, не знает меня по имени и, стало быть, не мог меня выдать. Я тоже смеялся, веселый пришел в барак, и здесь меня ждал этот парикмахер...

Пауль открыл глаза, поглядел на Янкеля и его вдруг осенило: теперь он уже точно знал, что доверил свою тайну этой носатой мыши. Вытаращенные глаза Янкеля, в которых отражался безмерный ужас, подтвердили это Паулю лучше, чем его собственная память!

— Янкель! — сказал Пауль изменившимся голосом. — Почему ты меня не брешь? Дрожащие руки Янкеля поднялись, но остановились на полпути.

— Я скажу тебе, почему ты боишься меня брить, — прохрипел Пауль и правой рукой притянул к себе Янкеля. — Потому что ты донес на меня писарю!

— Нет! — взвизгнул Янкель. Дыхание у него перехватило, он со всей силы полоснул бритвой по шее своего страшного врага, и сознание обоих погрузилось в багровую тьму.

* * *

Берл был недалеко. Он заметил какое-то странное движение за занавеской, услышал визг Янкеля и глухой шум, словно повалился тяжелый мешок. Юноша [242] осторожно подошел к занавеске, заглянул за нее и обмер. Бледный от страха, он обернулся и закричал:

— Помогите! Герр Пауль... Янкель...

Через несколько минут о происшествии знал весь лагерь. Смерть была заурядным явлением в Гиглинге, но такая смерть, смерть видного немецкого проминента, заставила все разговоры умолкнуть; люди на минуту прекратили работу, в глазах

многих появилось испуганное выражение. Возможно ли? Пауль, этот здоровяк Пауль лежит с перерезанным горлом? И зарезал его Янкель, серая мышь Янкель? Больше всех разбушевался Фриц. Словно готовясь к кровавой мести, он вытащил нож, спрятанный за стропилом, сунул его за пазуху и помчался в немецкий барак. — Где этот жид? — завопил он, увидя Оскара, наклонившегося над трупом Пауля. — Не знаете вы, что ли, что нашего Пауля зарезали жида? Может быть, это ты сам подослал Янкеля?

Он кинулся на Оскара, но стоявший рядом Антонеску схватил его в охапку. Старший врач встал и повернулся к буяну.

— Заткнись, Фриц. Сам не знаешь, что болтаешь, — сказал он строго. — Это до добра не доведет.

Вырываясь из крепких рук румына. Фриц прошипел:

— Пусти!.. И меня хотите прикончить? Всех немцев решили зарезать!

— Отпусти его, — сказал Оскар товарищу.

Отпущенный Фриц растерялся. Чех и румын были на голову выше его и стояли, готовые отразить нападение. Выхватить нож Фриц все же не решился.

Капо Карльхен стерег Янкеля; тот лежал на полу за занавеской, и даже от оплеух не приходил в сознание. Теперь капо подошел к стоящим над телом Пауля. Он тоже был озлоблен, но владел собой лучше, чем Фриц.

— Не ори! — хмуро сказал он Фрицу. — Будет следствие, все выяснится. Янкель скажет нам, почему он это сделал.

Фриц опять стал бушевать и сунул руку за пазуху, ища нож.

-Что-о? — кричал он. — Вы еще не прикончили эту сволочь?. Где он? [242]

— Отстань! — решительно сказал Карльхен. — Жида повесят, можешь не сомневаться. Но прежде он скажет нам, кто его подослал.

— Прошу тебя, Карльхен, — обратился к нему Оскар. — Не повторяй и ты этих глупостей. Кто мог подослать Янкеля?! Разве не видишь, что он лежит там без сознания? Ведь это же больной человек.

Карльхен сверкнул глазами.

— Больной? Он убийца, и баста! А кстати, кто в нашем лагере отвечает за больных, а?

Оскар умолк. Да, в этом есть доля правды. Ведь еще два дня назад маленький Рач сказал, что Янкель эпилептик и его нельзя держать в парикмахерах.

У входа в барак возникло движение, толпа любопытных, которых не впускал штубовой, расступилась. Вошел писарь, покрасневший, запыхавшийся. Только сейчас, вернувшись из комендатуры, он узнал о происшествии. Сам Хорст ждал его у ворот, и они вместе поспешили в немецкий барак.

Все взгляды обратились на них. Хорст снял шапку и остановился над телом Пауля, словно готовясь произнести надгробную речь. Глаза Эриха беспокойно мигали за стальными очками. Он поглядел на Карльхена, Фрица и обоих врачей, пытаясь угадать, что произошло между ними.

— Ну, писарь, — зловеще сказал Фриц, — это я твоих рук дело. Погляди, что натворили твои новые дружки.

Эрих, словно не слыша, обратился к Карльхену:

— Ты был при этом?

Карльхен переменил позу. Воинственное выражение на его лице сменилось хитроватым.

— Не был, — коротко ответил он.

— Так как же было дело? — нетерпеливо крикнул писарь.

— Не кричи, Эрих, — почти прошептал Карльхен. — Не тебе это дело расследовать. Позови-ка рапортфюрера.

Писарь почувствовал, что дело плохо, но все-таки заупрямился:

— Чтобы вызвать рапортфюрера, надо знать, зачем. Скажешь ты мне или нет, что случилось? [244]

Карльхен молчал, хмуро глядя ему в лицо. Писарь с недовольным видом обратился к Оскару:

— Что же случилось?

— Берл прибежал в лазарет с известием о несчастье. Антонеску и я сразу же поспешили сюда. Здесь мы нашли Пауля, он умер у нас на руках. Тот, кто его зарезал, лежит вон там, у окна. Он эпилептик, невменяемый человек. Сейчас он без сознания.

Оскар умолк, в бараке настала тишина.

— Что же вы двое дурите? — раздраженно повернулся писарь к Карльхену и Фрицу. — Случилась беда, а вы смотрите на меня, словно Пауля убил я...

— Ну и что ж? — дерзко крикнул Фриц. — Это еще надо выяснить. Забыл ты, что ли, как сам говорил: передай Паулю, что я с ним расправлюсь за ту сломанную челюсть...

— Никогда я этого не говорил, сукин ты сын! — накинулся на него Эрих. — Ты врешь, передергиваешь!

Фриц усмехнулся, оскалив зубы.

— Я вру? Ты так не говорил? — он повернулся к Карлу и кивнул на Эриха. — Ты слышишь?

— Я только предостерег Пауля через тебя, вот и все, — хрипел писарь; шрам у него на шее побагровел.

— Кто же тогда подослал Янкеля? — тихо спросил Карльхен. — Жиды?

— И они тоже, — Фриц подлил масла в огонь. — Жиды и Эрих — это ведь одна шайка-лейка, которая верховодит в лагере.

Хорст поднял голову.

— Что за чушь вы несете, ребята! Лагерь возглавляю я. Такие разговорчики бросают тень и на меня. А ведь вы знаете, что Пауля, этого доброго немца, я любил, как родного брата...

— Эту трепотню ты оставь до похорон, — проворчал Карльхен. — Сейчас не об этом речь. Лагерем ты руководишь, как флюгер ветром. Ты пятое колесо в телеге, Хорст, и не путайся в это дело. Пауля убили не случайно, и мы не знаем, чьих рук это дело. Комендатура должна немедленно расследовать его. Если писарь сейчас же не отправится туда с рапортом, немецкие зеленые пойдут к воротам без него и попросят рапортфюрера выслушать их. [245]

— Ладно же! — сказал Эрих. — Получайте, что хотели. Я считаю, что всегда лучше уладить дело самим и не звать на помощь комендатуру. Но если с вами иначе нет сладу...

И он направился к выходу.

— Погоди, Эрих, — остановил его Оскар. — Здесь велись опасные разговоры. Правда, случилось большое несчастье. Я сам не слишком любил Пауля, но очень огорчен, что произошло такое преступление. И я уверен, что в лагере нет ни одного человека, который не сожалел бы об этом, как и я. Но если Фриц и Карльхен начнут в комендатуре необдуманные речи, это может вызвать плохие последствия... вы сами понимаете. Я вас прошу, слышите, прошу, как старый хефтлинк, который прожил с вами бок о бок не один день и знает лагерные порядки: хорошенько подумайте, что вы там скажете.

— Оскар прав, — проворчал писарь. — Разве нет, скажи, Карльхен?

Но Карльхен не сдавался.

— Так что же, пойдет писарь рапортовать? Или нам идти самим?

Эрих пожал плечами: «Как хочешь». И ушел.

— Теперь проваливай и ты! — крикнул Карльхен Оскару. — И ты тоже!

Антонеску поглядел на старшего врача, тот кивнул, и оба направились к выходу.

— Я буду стеречь Янкеля, — сказал Карльхен. — А ты, Фриц, немедля собери немецких зеленых. Чтобы к приходу Копица все были здесь. Марш.

Фриц хотел было возразить, что посторожить парикмахера может и Берл, но промолчал. «Карльхен действует правильно, умнее, чем я, — думал он. — А если сейчас будет решаться судьба писаря, лучше, чтобы инициатива исходила от Карльхена, а не от иеня. Как-никак я кое-чем обязан Эриху».

— Is gut, — пробормотал Фриц и вышел.

Вернувшись в лазарет, Оскар спешно созвал врачей. Еще в дверях он встретил санитаря Пепи, хотел позвать и его, но тот только махнул рукой и устремился куда-то.

— Постой, Пепи, — окликнул его Оскар. — Неужели ты пойдешь против нас? Уж кто-кто, а ты знаешь лучше других... [246]

— Пауль был моим приятелем, — строптиво возразил Пепи. — А с вами я больше не хочу знаться. Все равно мне идти на фронт.

— Что ты болтаешь?

Пепи озлился на себя за то, что так опрометчиво проболтался. А-а, черт с ним, все равно пришлось бы им сказать! В лазарете ему жилось неплохо, с Оскаром он работал еще в Варшаве и всегда ладил с ним. Но теперь конец всему, теперь надо

думать о других делах.

— Не тронь меня! — огрызнулся он, когда старший врач взял его за рукав. — Все вы один другого стоите!

Оскар отпустил его и медленно отвернулся. Дело плохо, Пепи и тот против нас... А что он сказал об уходе на фронт? Правда, я знаю, что он ужасный враль. Но это он выболтал сгоряча. Еще утром он пришел из немецкого барака какой-то странный, словно его подменили.

Вслед за Оскаром в лазарет прибежал Фредо.

— Что случилось, доктор?

Имре был уже здесь, Антонеску привел маленького Рача и Шими-бачи.

— У нас совещание врачей, — сказал Оскар. — Не обижайся, Фредо.

— Не выгонишь же ты меня, — настаивал грек. — Я слышал, что дело важное и касается не только врачей.

— Тебя оно, во всяком случае, не касается, Фредо. Ты не врач и не еврей. Радуйся этому и оставь нас одних.

— Да брось ты, Оскар, не будь ребенком. Я пришел предложить тебе...

Оскар упрямо выпятил подбородок.

— ...Политику! — прервал он. — Я знаю, ты заговоришь сейчас о политике. И в конце концов действительно получится так, словно мы в заговоре против кого-то. А это чисто врачебное дело. Эпилептик совершил преступление, и речь идет о том, насколько мы, врачи, ответственны за него. Вступать в спор с Фрицем о том, убили Пауля евреи или нет, я не собираюсь. Да в этом и нет смысла, если эсэсовцы начнут расследование. Так что не осложняй это дело, Фредо, и оставь нас одних.
[247]

— Ты упрям и не видишь дальше своего носа, — хмуро сказал грек. — Но пусть будет по-твоему. Если я тебе понадобится, ты найдешь меня в конторе или в бараке у Вольфи. И не теряйте головы!

Он выбежал из лазарета и стал искать Диего. Первым ему встретился Гастон.

— Алло, Гастон, пойдём-ка со мной. Или погоди, не можешь ли ты найти Дерека, Жожо и Диего? Они, наверное, во французском бараке. Приведи их поскорей к Вольфи.

Через минуту Фредо уже был у рыжего Вольфи.

— Представь себе, — рассказывал он, — Карльхен заставил писаря пойти с рапортом в комендатуру.

— Мне уже говорили, — проворчал Вольфи. — Не знаю, что бы я делал на месте Эриха. Это же явное убийство, шутки плохи.

— Прежде надо было договориться между собой, Всякий старый хефтлинк знает, чего можно ждать от эсэсовского расследования. Да еще Фриц хочет все свалить на евреев.

— Это, конечно, подлость, — Вольфи нахмурил белесые брови. — С чего это ему вздумалось?

— Зол на штаб лагеря. Ему не нравится, что в нем Оскар и что Эрих принял всерьез идею рабочего лагеря. Челюсть тому мусульманину сломал Пауль. Эрих якобы это знал и при Фрице пригрозил Паулю расправой. А зарезал его еврей-парикмахер Янкель.

Вольфи в раздумье почесал затылок.

— Янкеля нам от петли не спасти. Главное — как будет с остальными. Надо, чтобы тут не было погрома, как в сорок первом году в Дахау.

— Пошли штубака за Клаузе и Гельмутом, — сказал Фредо. — Ребята из французского барака тоже сейчас придут. Надо придумать, как помочь Оскару и лазарету. Зеленые прежде всего набросятся на них.

* * *

В комендатуре писарь нашел только Копица. Рапортфюрер сидел все в той же позе, в какой был недавно, когда писарь уходил из комендатуры. Только сейчас перед Копицем стояла большая кружка кофе с молоком, полученным в соседней усадьбе в обмен на краденую картошку, и рапортфюрер старательно обмакивал [248] в нее сдобную булку, выменянную на казенную колбасу.

Эрих вздохнул с облегчением: Дейбеля тут нет. Видно, он еще отсыпается после ночной поездки в Дахау. С Копицем, да еще попивающим кофе, говорить легче.

— Ну, что еще? — проворчал рапортфюрер. — Забыл что-нибудь?

Писарь с необычным рвением вытянулся в струнку.

— Никак нет. Но считаю своим долгом доложить о чрезвычайном происшествии в лагере. Заключение Янкель Цирульник зарезал заключенного Пауля Кербера.

— Пауля? — Копиц пососал намоченную сдобу, с которой капал кофе. — А почему именно Пауля? Почему не тебя? По крайней мере я мог бы спокойно позавтракать. И что это вообще значит «зарезал»? У нас мясники режут скотину. А Янкель — парикмахер, это не его специальность.

Эрих замигал.

— Осмелюсь доложить, что это именно так. Пауль, к сожалению, мертв. Янкель полоснул его бритвой, и Оскар констатировал...

Копицу все еще не верилось.

— Ну, довольно молоть чепуху! Чтобы этот хилый жиденек посмел поднять руку на Пауля?.. Я знаю обоих еще по Варшаве.

— Оскар, извиняюсь, утверждает, что Янкель сделал это в каком-то припадке. Я в этом не разбираюсь, но видел, что парикмахер лежит с пеной у рта и все еще без сознания.

Копиц отодвинул кружку, наклонился над столом и утер рот скатертью.

— Хорош сюрпризик с утра! Что же нам с ним делать? Парикмахера придется повесить, а?

Эрих понемногу обретал обычное хладнокровие. Его успокоило, что великий и грозный рапортфюрер так здраво смотрит на это дело. Писарь даже не понимал, как он сам поддался нелепому возбуждению, охватившему немецкий барак. Что

случилось с Фрицем и Карльхеном? Старые хефтлинки, а ведут себя, как последние кретины! А может быть, именно Копиц держит себя сегодня иначе, чем можно было ожидать? Похоже, что он уже не свирепый эсэсовец времен Варшавы, [249] а какой-то благодушный немецкий папаша, слегка рассерженный тем, что ему не дают спокойно доесть сдобу и выпить кофе.

Писарь собрался с духом и сделал два шага к столу.

— Если герр рапортфюрер пожелает, Янкеля можно повесить немедленно. Но, может быть, лучше сначала немного успокоить лагерь. Боюсь, что сейчас работа на стройке почти прекратилась... А ведь нам надо к завтрашнему дню построить последние тринадцать бараков для новой партии, которая прибудет к вечеру... Послезавтра мы должны послать на внешние работы две с половиной тысячи человек...

Писарь говорил и говорил. Пользуясь задумчивым молчанием рапортфюрера, он быстро изложил все доводы за осмотнительное и тихое разрешение дела.

— М-да, ты прав, — пробормотал Копиц. — С самого понедельника у меня голова просто распухла от забот... — Выразительным жестом он показал, как именно распухла его голова. — Постройку бараков нужно продолжать во что бы то ни стало, ей ничто не должно мешать, понятно? Немедля иди в лагерь, гони людей на работу, убитого пока что отнесите в мертвецкую. Оскар пусть напишет медицинское заключение о смерти. А этого Янкеля... черт подери, что с ним делать? У нас тут даже карцера нет...

— Может быть, отправить его в Дахау? Для суда... и вообще.

— Ты с ума сошел! Начнется следствие, нам не дадут покоя!

Теперь Эрих рискнул выложить самую деликатную часть своего сообщения.

— Разрешите доложить, что, к сожалению, без расследования все равно не обойтись.

— Почему? — рассердился Копиц. — Кто меня заставит? У нас каждый день столько мертвых, а тут из-за одного затевать такую канитель.

Эрих пожал плечами.

— Я только передаю слова Фрица. В его оправдание надо сказать, что смерть товарища страшно подействовала на него, он сам не знает, что говорит. Ему взбрело в голову, что это не несчастный случай, а предумышленное убийство немецкого заключенного. Мол, евреи подослали Янкеля... [250]

— К черту Фрица, этого безмозглого гитлерюгендовца! — Копиц стукнул кулаком по столу. — А ты за него вечно заступаешься! Недавно я обозлил Дейбеля тем, что не угостил Фрица двадцатью пятью горячими, которые он вполне заслужил. А теперь еще этого не хватало! Следствие! Может быть, вызвать сюда еще и гестапо? И оправдываться перед ними, почему у меня, в такой тесноте, арийцы не отделены от евреев?

— С Фрицем трудно разговаривать, герр рапортфюрер. Я начал было его уговаривать, но Карльхен стал на его сторону. Этот Карльхен тоже имеет на меня зуб за то, что я не прощаю ему разврата с еврейским мальчишкой...

— Ну, ну, хватит! — Копиц нетерпеливо покачал головой. — Ты все валишь в одну

кучу. Карльхен — старый гомо, это всем известно. А что, он очень обнаглел?

— Так, пустяки, герр рапортфюрер, — уклончиво ответил писарь с видом человека, который не любит наушничать. — Я поймал его мальчишку на том, что он сшил себе шапочку из куртки. Франтит, видите ли... Люди в лагере мерзнут, а Карльхен заказывает из казенной одежды наряды для своего...

— Да перестань! При чем тут убийство Пауля?

— Пауль тоже был против меня. Недавно он жестоко избил одного мусульманина, и я передал ему, что больше не потерплю таких выходов. Теперь, когда этот кретин Янкель зарезал Пауля, Фриц говорит, что Янкеля подослали еврейские врачи — дружки этого побитого мусульманина. А Карльхен и вовсе кричит, что Янкеля подослал я!

— Бабы, вздорные, глупые бабы, вот вы кто! Один другого стоите! У меня хлопот полон рот, я даже в лагерь к вам не захожу, пытаюсь обращаться с вами по-хорошему, лишь бы рабочий лагерь стал на ноги — и вот, видишь, ничего не получается! Дейбель вам нужен, вот что! — воскликнул Копиц, и «Дейбель» опять прозвучало в его устах, как «Teufel».

Эрих сделал сокрушенное лицо пристыженного школьника, но в душе смеялся и потирал руки. Карльхен и Фриц посажены в калошу. Куда им против старого профессионала Эриха Фроша!

В этот момент произошло нечто, испортившее тихий триумф писаря. Распахнулась дверь, и из темного [251] помещения вышел позевывающий Дейбель в одном нижнем белье, взлохмаченный.

— В чем дело? Ты звал меня, Лойзль?

«Пропало дело!» — мелькнуло у Эриха. Копиц сделал недовольное лицо.

— Никто тебя не звал. Просто я крикнул «Дейбель вам нужен». Разозлили меня наши старички. Самые старые хефтлинки, оказывается, самые дурные. Иди, спи.

Левый глаз Дейбеля никак не хотел раскрыться, но правый тупо уставился на писаря. Он все еще не мог простить Эриху заступничество за Фрица, о Фрице же он вспомнил сейчас потому, что нечего было курить. Несколько странным ходом мыслей он пришел к выводу, что во всем повинен Эрих: Фрица не выдрали, и потому сейчас нет сигарет.

— Не хочу спать! — хмуро сказал Дейбель. — И совсем я не удивляюсь тому, что этот подлый писарь портит тебе нервы. Но, слава богу, скоро мы от него избавимся.

— Проснись ты наконец как следует! — проворчал Копиц. — Или уходи. Тут и без тебя хорошая каша.

— А что случилось?

— Ничего. Вот придешь мне докладывать о поездке в Дахау, тогда я тебя информирую. А сейчас поди, оденься. Вот-вот приедет Россхауптиха. Увидит тебя с открытой аптекой — грохнется в обморок.

Дейбель оправил на себе белье.

— Иду, иду. Но самую важную новость из Дахау я тебе скажу сейчас. И пусть этот

сволочной писарь тоже послушает: быть ему на фронте. Конец филонству в гиглингском санатории, всех зеленых берут в армию. «Achtung, годен к военной службе! В общую могилу — шагом марш!»

Дейбель продекламировал эту фразу словно со сцены в кабаре и так лихо повернулся направо кругом на голой пятке, что у него взметнулись завязки кальсон.

— Погоди-ка, — проворчал Копиц. — Я, конечно, ожидал, что ты налижешься там, но если ты и сейчас не соображаешь, что мелешь, это уж...

— То есть как так не соображаю, начальник? — возразил Дейбель и снова зевнул. — На той неделе [252] зеленые призываются в Дахау. У нас их как раз тринадцать человек... роковая цифра! А потом прямехонько на фронт — и на тот свет. Пиф, паф! — с этими словами Дейбель закрыл за собой дверь, и было слышно, как он повалился на койку. Скрипнули ржавые пружины.

— Руди! — недовольно воскликнул Копиц ему вслед, потом взглянул на писаря. — Сколько зеленых у нас в лагере?

Краснолицый Эрих стал заметно бледнее. Сердце у него колотилось.

— Герр обершарфюрер разрешит мне высказать свое мнение? Я думаю, что это невозможно... Обершарфюрер Дейбель немного сердит на меня и, видимо пошутил... Никогда еще не случилось...

— Я его слишком хорошо знаю, — тихо сказал Копиц. — Ему не придумать такую шутку. Нет, здесь что-то не так... ну, ладно, мы скоро узнаем. Но мне пришло в голову кое-что похуже. Сколько зеленых числится за нашим лагерем?

Он поглядел на писаря, тот — на него, и оба без слов поняли друг друга. У нас больше нет тринадцати зеленых, Пауль уже не в счет! Но его не вычеркнешь из списков, как любого другого: мол, заключенный номер такой-то выбыл, причина — смерть. В Дахау знают, что у нас числится тринадцать зеленых. Что, если их потребуют завтра же? Отсутствие тринадцатого придется объяснять, мотивировать. Как это острят хефтлинки насчет проверок? «Обходятся с нами, как с дерьмом, а считают нас, как дукаты». Пауль — это статья баланса, которой не хватит в нашей бухгалтерии. А если еще Фриц и Карльхен перед призывом начнут болтать и наклеузничают... М-да-а, вляпались мы так изрядно, что одним повешением Янкеля не отделаешься. Германия потребует солдата, а что мы дадим?

— Kreuzhageldonnerwetternocheinmal! — медленно и со вкусом выругался Копиц. Эрих тихо вздохнул.

— Тебе хорошо вздыхать, — накинулся на него рапортфюрер. — Ты-то знаешь, что в армию ты не годен, с таким горлом тебя не возьмут. А Пауль был здоровяк, второй Макс Шмелинг {16}. И такого солдата нам ухлопали евреи! [253]

Писарь в душе содрогнулся. Вот теперь заговорил настоящий Копиц, крутой эсэсовец Копиц. Берегись, Эрих!

— Разрешу себе обратить ваше внимание, герр рапортфюрер, на то, что уход двенадцати ведущих работников заметно осложнит положение в лагере. Для того, чтобы послать в понедельник две с половиной тысячи заключенных на внешние работы, надо беречь каждого человека. Мы не можем позволить себе без разбору вешать евреев, как этого хочет Фриц.

Это были смелые, но правдивые слова. Копиц уже не стоял за столом, а бегал на коротких ножках по комнате. Затрещал телефон, и ему пришлось снять трубку. Звонил рапортфюрер из пятого лагеря и сообщал, что от них выехала Россхауптиха и через какие-нибудь двадцать минут будет у Копица.

— Спасибо, дорогой коллега, — сказал Копиц. — А кстати, раз уж ты позвонил, скажи-ка: не слышал ты каких-нибудь новостей о наших зеленых?

Эрих наострил уши, но голос в трубке был слишком тихим. Впрочем, достаточно было видеть кислое лицо Копица: рапортфюрер из пятого, видимо, подтвердил то, что сказал Дейбель.

Трубка с треском упала на вилку аппарата, Копиц снова забегал по комнате.

— Такая невероятная новость, и вот, пожалуйста, я узнаю ее последним. Все уже знают, один я... Ручаюсь, что Фриц и Карльхен тоже пронюхали. Иначе они не нахальничали бы...

— Исключено! — сказал Эрих, хотя не был уверен, что это так. — То, что знает кто бы то ни было в лагере, знаю и я.

Копиц остановился перед ним.

— Кто приехал сегодня утром из Дахау? Пауль и Гюнтер, не так ли? Думаешь, они не знают? А ты с ними ссоришься, вместо того чтобы разведать, какие новости они привезли. Стареешь ты и глупеешь, писарь, вот что. Если тебя не заберут в четверг под ружье, тебе, я думаю, все равно не бывать больше писарем.

Эрих снова сделал огорченное лицо, но был рад, что Копиц немного успокоился.

— Насколько я понимаю, сейчас приедет фрау надзирательница, — сказал он. — Я хотел бы предупредить [254] кухню и девушек. Да и на стройку мне пора... Вопрос о Пауле, герр рапортфюрер, видимо, лучше всего разрешить вам лично, когда вы придете в лагерь...

— Проваливай! — рявкнул Копиц. — И верно, никакого от тебя толку! Всем мне приходится заниматься самому. Сделай то, что я сказал: труп отнесите в мертвецкую, а Янкеля... а Янкеля знаешь, куда? Заприте его там же! Если в мертвецкой нет замка, забейте пока дверь гвоздями. Снимите у него пояс и шнурки, чтобы не повесился. А самое главное: работа на стройке должна продолжаться как ни в чем не бывало! Пока Россхаупт здесь, всюду должно быть полное спокойствие. Verstanden?

9.

Кюхеншеф Лейтхольд волновался больше обычного. Во-первых, он с тревогой ожидал визита надзирательницы, во-вторых, никак не мог забыть того, что произошло сегодня в немецком бараке. Итак, в лагере действительно убивают. Мысли о сверкающих кухонных ножах и топоре не случайно заполняли его голову, он не преувеличивал, все это правда, он попал в клетку с хищниками!

Одно теперь ему ясно: чем дольше он глядел на девушек в кухне, тем меньше боялся их и больше боялся за них. Эти женщины в жалких бумажных платьях никого не обидят, они робкие и мирные создания, кроме разве Юлишки. Надо оберегать их от мужчин, а не мужчин от них. Единственный мужчина в кухне, которому, быть может, грозит опасность, это он сам. Да и то не от женщин. Если

маленький ничтожный Янкель поднял руку на силача Пауля, почему бы Мотике, Фердлу, Диего или любому другому заключенному не прикончить его, Лейтхольда? Ведь он их враг, он эсэсовец, у него в кармане ключи от провиантского склада и от женского лагеря...

Лейтхольду стало страшно. Кроме того, он побаивался Россхауптихи: кто знает, что еще она выдумает? Забравшись к себе в каморку, он присел к столу, уставился в одну точку и даже не услышал легкого стука. Стук повторился уже погромче. Лейтхольд вскочил.

— Войдите!

Дверь отворилась, на пороге стояла Юлишка.

— В чем дело, Габор? Вам не полагается заходить ко мне. Оставьте дверь открытой. [255]

Юлишка замигала. «Не укушу же я тебя, — говорили ее смеющиеся глаза. — Какой ты странный!»

Стеклянный глаз Лейтхольда сердито глядел на блузку девушки, тесно облежавшую бюст.

— Ну, в чем дело?

— Пришла машина с хлебом. Капо абладекоманды Зепп просит помочь им с разгрузкой. Ведь у них теперь нет Пауля... Что, если послать Эржику и Беа...

— Вечно Эржика и Беа! — вырвалось у Лейтхольда. — Почему именно их?

— Вы же знаете, что они сильные девушки, — невозмутимо ответила Юлишка.

Экая бестия! Лейтхольд заставил себя взглянуть на нее зрячим глазом, хотел оборвать, но вместо этого сказал любезно:

— Ладно, пусть идут. Но чтобы не затевали никаких фокусов с мужчинами. С минуты на минуту явится надзирательница.

— Jawohl! — вытянувшись в струнку, отозвалась Юлишка и заговорщицки прищурила левый глаз. — Можете на меня положиться, герр кюхеншеф.

Дверь закрылась, Лейтхольд снова остался один. Через перегородку был слышен энергичный топот деревянных башмаков Юлишки.

— Эржика, Беа, марш разгружать хлеб! И никаких фокусов, verstanden?

Лейтхольд сидел за столом и глядел в одну точку. Вдруг он страшно перепугался, заметив, что его губы невольно растянулись в улыбку.

* * *

— Вот еще новое дело! — проворчал конвойный Ян и передвинул трубку из одного угла рта в другой. — У меня только два глаза, где мне еще смотреть за бабами? Они же могут упрятать под юбку целую буханку хлеба, а потом ищи-свищи!

Против обыкновения он подошел ближе к откинтому заднему борту грузовика, чтобы удобнее было следить за разгрузкой. Тем временем Фриц, околавившийся около кухни, воспользовался возможностью: подскочил к кабине и заглянул в открытую дверцу.

— Берегитесь конвойного! — испуганно и в то же время радостно прошептала

фрау Вирт. [256]

— Он там, сзади, — успокоил ее черномазый красавчик, влюбленно глядя на фрау Вирт.

— Я так давно вас не видела, — вздохнула дородная фрау Вирт. — Теперь у вас в лагере женщины, обо мне вы, наверное, и не вспоминаете.

— Ах, что вы, фрау Вирт, — Фриц обиженно покачал головой. — Вы же меня знаете. До этих пархатых венгерских жидовок я не дотронусь даже щипцами. И вообще, знали бы вы, что у нас тут творится! Помните Пауля, этого детину из абладекоманды? Так вот, он лежит в мертвецкой, ей-богу! Зарезан сегодня утром.

— Эсэсовцы? — в испуге спросила она.

«Чего там долго объяснять!» — подумал Фриц, кивнул и продолжал.

— Да и мне уже недолго оставаться здесь. Еду на фронт.

— Что вы говорите! А я думала, что в концлагере... Вас в самом деле заставляют?

— Если не сбегу, заставят. — Он подошел поближе. — Как думают у вас в Мюнхене, скоро все это кончится?

Боже, что говорит этот человек! Давно ли он ораторствовал, как сам Гитлер...

— Не бойтесь, — фрау Вирт понизила голос. — Войне вот-вот конец.

— А что, если однажды ночью я постучусь у ваших дверей? Спрячете вы меня? Вы же живете одна, — напрямик спросил Фриц, глядя на нее голодными глазами и с таким видом, словно от ее согласия зависит спасение его души.

Фрау Вирт вздрогнула. Он это всерьез? Соккрытие беглого лагерника карается смертью. Но разве можно отказать такому славному пареньку?.. Оставить его на погибель в страшном лагере, сказать ему в лицо: нет, я вам не помогу! Но она не поверила его версии о скорой отправке на фронт и не отнеслась всерьез к словам о возможном побеге. Ведь он такой вертопрах, этот ее цыганенок...

— Понимаете... я бы с удовольствием помогла, но, ради бога, прошу вас, не поступайте опрометчиво, чтобы вам не стало еще хуже...

— Это так похоже на вас, фрау Вирт, — пылко сказал Фриц и ловко изобразил подступившие к горлу [257] слезы. — Я никогда этого не забуду. Скорее, скажите ваш адрес!

— Но не так же, в арестантской одежде...

— Адрес, скорей!

— Ольденбургерштрассе, 68, четвертый этаж, направо.

Фриц для верности переспросил, потом, оглянувшись, попятился от кабины.

— Пожелайте мне успеха, фрау Вирт, и не бойтесь!

Она слегка подняла руку, словно хотела перекрестить его. Ей показалось, что она видит его последний раз в жизни.

Фриц быстро и осторожно обошел Зеппа, Коби, Гюнтера и девушек и из-за угла стал наблюдать за разгрузкой хлеба. Грузовик был уже почти пуст, в заднем углу кузова у борта лежал зеленый брезент.

Фрица вдруг осенило. Еще пять минут назад он и не думал, что это произойдет сегодня и именно так. Но сейчас... В голове этого туповатого парня вдруг засела навязчивая мысль, которую он никак не мог прогнать. Мерзкий концлагерь, зарезанный Пауль, призыв в армию и страх, все-таки неотвратимый страх перед фронтом, — все это угнетало его... И вот подвертывается редкая возможность! Надо только перескочить через левый борт в кузов грузовика в тот самый момент, когда Ян будет влезать справа в шоферскую кабину, и успеть спрятаться под брезентом, пока машина едет по лагерю. Есть только два опасных «если»: если часовой на вышке справа вдруг посмотрит на грузовик (левому не видно, заслоняет кухня) и увидит, что Фриц вскочил в машину; но и это еще не беда — часовой может подумать, что проминент с повязкой поехал легально, с разрешения. Второе «если» подстерегает Фрица у ворот: часовой там может быть более дотошным и приподнять брезент. Но может и не приподнять... В большом деле риск неизбежен, а здесь все ставится на карту.

...Последняя буханка снята с грузовика. Зепп и Гюнтер подняли и закрепили задний борт, Коби крикнул какое-то ядерное словцо вслед девушкам, которые, мелькнув юбками, исчезли в кухне. Конвойный Ян усмехнулся, закурил трубку и направился к кабине.

Фриц, весь подобрившись, как спринтер на старте, кинулся к машине. Почти наверняка кто-нибудь из [258] заключенных заметит его, но это не смущало Фрица; в своей жизни он без всякого зазрения совести предал многих людей, но столь же спокойно рассчитывал на то, что его самого не предаст никто. Как кошка, прыгнул он в тронувшийся грузовик и прижался к стенке за кабиной на случай, если конвойный, почувствовав легкий толчок, поглядит в заднее окошко. Потом Фриц залез под зеленый брезент.

Грузовик подъехал к воротам лагеря в тот самый момент, когда в них входили Копиц и Россхаупт. Часовые вытянулись перед ними и почти не обратили внимания на автомашину. Ян вылез из кабины, а часовой небрежно выполнил свою обычную процедуру: поставил ногу на колесо, приподнялся и заглянул в кузов. Он увидел там лишь валявшийся брезент.

Фрау Вирт тронула машину.

* * *

Россхауптиха была исполнена энергии, как и в тот раз, когда впервые прибыла в комендатуру.

— Что случилось, дорогой коллега, почему вы сегодня сопровождаете меня? — осведомилась она у Копица.

Тот попытался отделаться шуткой.

— Просто так. Надо же когда-нибудь быть кавалером.

Россхауптиха на ходу смерила его взглядом.

— Что-то у вас тут неладно, а? В тот раз вы были тверды, как скала, а сегодня похожи на студень.

— Вы так думаете?

«Ах, черт! — досадовал Копиц. — Я и забыл, что только выдержка, выдержка и

еще раз выдержка избавит меня от подвохов этой несносной бабы».

— Когда с вами держишься официально, это вам не нравится. А начнешь относиться запросто, вы опять недовольны. Чего же вы хотите?

Россхаупт усмехнулась.

— Ишь, как вы расшевелились! Вот это мне нравится! Движение, темп, больше жизни — все это правильно! Щука в пруду — это я, господин карась!

«Никогда еще не видывал рыжей щуки, — кисло подумал Копиц. — Но рожа у тебя, и верно, щучья».

Они подошли к конторе, где, стоя навтыяжку, их ждал писарь. Из кухни вышел Лейтхольд и заковылял к ним. [259]

— Каковы ваши планы на сегодня, фрау надзирательница? — спросил рапортфюрер.

— Ничего особенного. Взгляну только, как ведут себя женщины. Мертвых среди них нет?

— Списочный состав без перемен: семьдесят девять человек, — прохрипел писарь.

Россхаупт нахмурилась.

— Тебя я не спрашиваю. У меня есть секретарша, она будет вести учет. Надеюсь, у вас есть картотека? — обратилась она к Копицу.

— Конечно. Но только одна, и она здесь, в конторе. Разрознивать ее я не собираюсь. Мне нужны полные сведения о наличном составе, и я не намерен бежать в женский лагерь каждый раз, когда мне понадобится...

— Не волнуйтесь, я сделаю себе отдельную картотеку: приведу секретаршу, и она снимет копии с карточек. Против этого вы, я полагаю, не возражаете?

Подошел Лейтхольд.

— Хей...тлер! — приветствовал он надзирательницу. — Вот ключ от калитки.

— Как ведут себя *номера* на кухне? — подмигнула ему Россхаупт.

— Хорошо. У меня жалоб нет.

— Я сейчас туда загляну, но прежде закончу дело с секретаршей. Вы собираетесь идти со мной, рапортфюрер? А собственно, зачем?

«Ага, вот оно, — подумал Копиц. — Ключет, ключет щука!» Вслух он сказал:

— Меня туда ничто не тянет. Да и есть кое-какие дела в мужском лагере. Если я вам понадоблюсь, дайте знать. Хей...тлер!

Россхаупт направилась к калитке, а Копиц кивнул Лейтхольду.

— В кухне у тебя все в порядке? Дождись там надзирательницу. Писарь, мы идем в немецкий барак. Марш!

У калитки стояла Илона. Она отрапортовала надзирательнице: столько-то женщин работает вне лагеря, в казармах и кухне СС, столько-то в лагерьной кухне и столько-то в бараках. Больных трое, заболевания легкие.

— Где секретарша?

Староста проводила надзирательницу к третьему бараку. Там санитарка крикнула «Achtung!» Три пациентки стояли в проходе между нарами. В бараке было чисто, [260] одеяла сложены безупречно. Рассхаупт кивнула и проследовала дальше. За занавеской в глубине лазарета, у окна, стоял стол. За столом сидела тоненькая Иолан.

— Is gut, — сказала эсэсовка Илоне. — Иди, проверь остальные бараки. Я сейчас туда приду. — И она опустила занавеску. — Ну, секретарша, есть у тебя точный учет, где работают девушки?

— Да, пожалуйста, — Иолан робко показала на бумаги. Но Россхаупт даже не взглянула на них. Она глядела на длинные ресницы и чистый лоб девушки. — Вшей у тебя, я надеюсь, нет?

— О, нет, нет!

— Сними головной платок.

Иолан повиновалась. Надзирательница подошла к ней. Россхаупт была на голову выше.

— Так тебе больше идет. Ты теперь похожа на мальчишку. Покажись, — она провела рукой по мягким, коротко остриженным волосам девушки. — У тебя красивые уши. Под волосами их, наверное, было бы не видно, — Россхаупт вдруг ухватила девушку за мочку левого уха и сильно дернула. Иолан испуганно вскрикнула.

— Не ори! — сказала надзирательница. — У тебя грязное ухо.

— Я его мыла... — Девушка заплакала.

— Плохо! Покажи ногти.

Иолан спрятала руки за спиной.

— У нас нет ножниц, и мыла очень мало...

— Показывай!

Иолан вытянула руки. Ногти у нее были обломанные и разной длины, но совершенно чистые.

— Свинья! — сказала надзирательница. — Я тебя проучу. Разве это чистота?! Противно сидеть рядом с тобой! Покажи ноги!

Девушка смотрела на нее глазами, полными слез.

— Разуйся! Ну, пошевеливайся!

Иолан нагнулась, развязала шнурки и сняла деревянные башмаки с парусиновым верхом. Ступни у нее были узкие и очень пропорциональные, подъем высокий, пальцы длинные, кожа смуглая, чистая. На ногтях обоих больших пальцев надзирательница заметила какие-то пятнышки.

— Это что такое?

Иолан взглянула и улыбнулась сквозь слезы. [261]

— Остатки лака... Еще не сошел... летом я была на курорте... — «Летом на курорте, — мечтательно подумала она. — О господи, еще этим летом!»

— Ах, вот ты какая! Красила ногти, соблазняла мужчин! *Wie eine richtige geile Nutte!* <Как заправская потаскушка! (нем.)> А прикидываешься невинной.

Девушка покачала головой.

— Нет, нет, я не делала... того, о чем вы говорите. Все девочки в моем классе летом красили ногти... честное слово!

— Ну, здесь этому будет конец, о твоём воспитании позабочусь я. Знаешь ты, что это такое? — Россхаупт словно только и ждала этого момента: она вынула из сумки аккуратно свернутую плетку, взмахнула ею и улыбнулась, увидев испуг в глазах маленькой венгерки. — Так ты не знаешь, что это?

— Плетка для собаки, — прошептала Иолан.

— Какое там для собаки! — сказала эсэсовка. — Это для таких, как ты. Понятно? — б она слегка хлестнула девушку по икрам. Иолан подпрыгнула.

— Но по ногам я обычно не бью, — с расстановкой продолжала надзирательница. — В лагере бьют по заднице. По голой заднице. И на виду у всех. Перегнешься через стол, одна тебя держит за голову, другая за ноги, а третья бьет, вот так! — Она взмахнула плеткой и со всей силы хлопнула ею по столу. Звук был страшный.

— Нет, нет, — как безумная вскрикнула Иолан. — Меня еще никогда не били!

— Это и видно! — проворчала Роосхаупт и схватила ее левой рукой за горло. — Ты, я вижу, хорошая истеричка. Ну-ка, замолчи!

Она сказала это так угрожающе, что Иолан затихла, но тряслась, как в лихорадке, и чувствовала, что у нее стучат зубы.

Россхаупт отпустила ее.

— А для тех, кто часто ревет и вообще устраивает сцены, у меня есть кое-что получше, чем плетка. Вот, гляди, — она нагнулась и подняла деревянный башмак.

— Возьму его и разобью в кровь твое смазливое личико!.. Ты была бы не первая, кого я убила вот этими руками, понятно? — и она стукнула девушку каблуком по лбу. [262] Лицо эсэсовки налилось кровью, Иолан была бледна как мел.

— Обуйся, бери бумаги и пойдем, — сказала надзирательница и бросила башмак на ногу Иолан. Та вскрикнула «ой!» и тотчас закусил губы. Потом обула башмаки, вытерла слезы, повязала на голову платок и пошла за надзирательницей.

Плетка снова была спрятана в сумку. Визит Россхауптихи в остальные два почти пустых барака был коротким. Кое-где она проронила две-три фразы, потом повела секретаршу в контору мужского лагеря. Там сидели Хорст и Зденек. В глубине, за занавеской, Бронек занимался уборкой. Хорст отрапортовал, Россхауптиха улыбнулась ему: «А, мой немецкий красавчик!» Польщенный Хорст погладил усики.

— Ты ведешь картотеку? — строго обратилась надзирательница к Зденеку, перед которым стояло два ящика — картотека живых и картотека мертвых. — Какой ты национальности? И почему у тебя не пришит треугольник?

— В Освенциме нам дали куртки без треугольников. Я чех, политический.

— Ein Tscheche? <Чех? (нем.)> — грубо засмеялась Россхаупт. — «У чехов много блохов», — сказала она по-чешски с сильным судето-немецким акцентом. — Не

так ли?

— Не совсем, — улыбнулся Зденек. — Здесь, в Германии, у нас завелись еще и вши.

Это было дерзостью, и Зденек не получил оплеухи только потому, что надзирательницу обеспокоило слово «вши».

— Фуй, и у тебя тоже?

— Сегодня утром я нашел всего трех. Но если так пойдет и дальше, скоро их у нас будут тысячи.

Россхаупт записала на клочке бумаги «Произвести дезинсекцию», потом обратилась к испуганной Иолан, которая все еще стояла со слезами на глазах:

— Вот видишь, к этим мужикам нельзя подходить близко, они грязные. Ты сядешь вон там... — Она показала на свободное место Фредо. — Чех даст тебе карточки женского лагеря и чистые бланки, и ты снимешь копии. Работай молча, не вздумай ни с кем разговаривать, а то... в общем, сама знаешь, — она взглянула на [263] Хорста, который все еще стоял навтыжку. — А что мне делать с этим опасным щеголем? Не хочешь ли проводить меня на кухню?

— С удовольствием, фрау надзирательница! Прошу вас.

— Тебя я уже не считаю заключенным, — сказала она ему по дороге. — Ты ведь знаешь, что фюрер дает тебе возможность отличиться на фронте и загладить все твои проступки.

— Да, у нас поговаривают об этом... Я высоко ценю великодушие фюрера.

— Рада слышать. В Дахау мне сказали, что из вашего лагеря пойдет тринадцать человек.

— Jawohl! — сказал Хорст и запнулся. — То есть... к сожалению, нас только двенадцать. Сегодня утром выбыл самый бравый...

— Что с ним случилось?

— Умер. Представьте себе, убит, фрау надзирательница.

— Что ты говоришь? И кто же его убил?

— Загадочная история, — сказал Хорст, радуясь, что они уже подходят к кухне и разговор кончается. Не выболтал ли он лишнее? С эсэсовцами надо быть осторожным...

— погоди, остановись-ка! Какая такая загадочная история? Разве не выяснено, кто его убил? Может быть, сам Копиц? — Ее глаза блеснули. Недурно было бы узнать что-нибудь, компрометирующее этого противного рапортфюрера.

— Нет, нет, — поспешил ответить Хорст. — Убийца — заключенный. Польский еврей, парикмахер Янкель... Во время бритья он перерезал Паулю горло.

— Так что же тут загадочного?

Хорст смутился.

— Есть слух, что парикмахер действовал по наущению... Все выяснится, герр рапортфюрер сейчас расследует дело.

* * *

После ухода надзирательницы и Хорста в конторе воцарилось молчание. Зденек передвинул карточки на другую сторону широкого стола, и Иолан начала усердно заполнять их. Не поднимая головы, она все писала и [264] писала, лишь иногда украдкой утирала глаза, и ее плечи чуть вздрагивали. Зденек с минуту наблюдал, потом спросил:

— Что с вами? Вы плачете?

Девушка не ответила.

— Меня вы можете не бояться, — продолжал он немного погодя. — А кстати, мы здесь не одни... Бронек! Покажись барышне!

Поляк выглянул из-за занавески и весело подмигнул.

— Добрый день, — сказал он по-польски. Слегка испуганная Иолан бросила на него быстрый взгляд. Но круглая голова Бронек, торчавшая из-за занавески, выглядела так забавно, что юная венгерка не удержалась от легкой улыбки.

— Ну вот, то-то! — сказал Зденек. — Что такое с вами стряслось, почему вы такая перепуганная?

Девушка хотела что-то сказать, но покосилась на дверь и промолчала.

— Вас обидела эта эсэсовская стерва?

Иолан кивнула, и из глаз ее закапали слезы. Зденеку очень хотелось встать, обойти стол и погладить по плечу эту маленькую красивую девочку.

Иолан по-детски излила ему свою обиду.

— Она ругала меня грязной свиньей и еще бог знает как за то, что у меня на ногтях следы лака. У нас в классе все девочки красили ногти. Разве в Германии это грех?

— Не знаю, — засмеялся Зденек. — Здесь грех все, что не нравится эсэсовцам. Значит, вы так недавно в лагере, что у вас еще не сошел лак с ногтей?

Она снова кивнула.

— Летом я была с мамой в...

— Ну, ну, только не плачьте! У меня вот тоже еще сохранилась кое-какая памятка о прошлом...

Он вытянул левую руку и показал ей безымянный палец, на котором виднелся след кольца — узкая полоска незагорелой кожи.

— Это от кольца? — спросила Иолан. — Вас тоже взяли недавно?

Зденек грустно улыбнулся.

— Нет, уже почти два года назад. Но в Терезине у меня не отнимали обручального кольца. Я, видите ли, женат.

— А где ваша жена? [265]

Опасаясь, что, если речь пойдет об Освенциме, маленькая венгерка опять заплачет, Зденек ответил небрежно:

— Не знаю, где она сейчас. Наверное, ей легче, чем мне.

— Это хорошо, что вы можете не бояться за нее. Моя мама, к сожалению...

— Меня зовут Зденек, — поспешно прервал он. — А как вас? Я не знаю вашего имени.

— Иолан Фаркас.

— Ага, вспомнил. Уроженка Будапешта и одна из самых младших в группе. Вам шестнадцать лет.

Она улыбнулась.

— Вы всю картотеку знаете наизусть?

— Это входит теперь в мои обязанности.

— А что вы делали раньше?

— Работал на киностудии.

Услышав это, Иолан почти забыла о всех своих огорчениях и о страшной надзирательнице. Молодость взяла свое.

— Правда? — воскликнула она. — Это так интересно! Я выписывала журнал, «Szinházi élet» <<Театральная жизнь» (венгер.)> — знаете такой? А когда меня пускали в кино... Знаете, какой фильм я видела в последний раз?

— Я с сорокового года не был в кино.

— В сороковом году я еще в кино не ходила. Но я хочу вам сказать, что я видела в последний раз: «Юг против севера». Знаете? Замечательно! Кларк Гейбл играл... вы знаете Кларка Гейбла? Я его обожаю! — Она даже зарделась. — А в роли Скарлет была...

— Не увлекайтесь, Иолан! — улыбнулся Зденек. — Надзирательница придет с минуты на минуту. Сперва заполните все карточки, а потом поболтаем. Идет?

Иолан живо кивнула и углубилась в работу.

* * *

Но Россхауптиха все не появлялась. Закончив проверку кухни, она послала Хорста за Копицем. Тот все еще был в немецком бараке и пришел неохотно. Хорст сказал ему, что Россхауптиха собирается уезжать. Тогда надо поскорее отвязаться от нее, решил Копиц. [266]

— Что вам угодно? — крикнул он еще на ходу. Надзирательница медленно шла ему навстречу. Заглянув в свой листок с заметками, она сказала:

— Есть кое-какие замечания. Во-первых, я обнаружила вшей. Позаботьтесь, чтобы вам прислали из Дахау дезинсекционную бригаду.

— Это все?

— Отнюдь нет, — Кобылья Голова подозрительно усмехнулась. — Замечание номер два. В кухне еще работают двое мужчин. Я не хочу, чтобы они оставались там.

— Но позвольте...

— Наши девушки — лихой народ, не так ли, Лейтхольд? — обратилась она к тощему эсэсовцу, который ковылял за ней. — Они сами справятся с любой тяжелой

работой. А старший повар — такой здоровяк, он пригодится вам в понедельник на стройке. Пусть-ка займется чем-нибудь полезным для Германии. Согласны?

Копиц злился в душе. С Мотикой удобно было работать, он уже точно знал, сколько и чего надо припрятать для комендатуры. Но попробуй поспорь с Россхауптихой, у нее веские аргументы.

— Ну, теперь все?

— Нет, друг мой. Второй повар — немецкий зеленый. Как вам известно, он в четверг поедет в Дахау...

— Он же глухонемой, о господи боже!

— У него две руки и две ноги. Предоставим призывной комиссии решать, как его использовать. В кухне он оставаться не может. А вы радуйтесь, что сможете отправить в Дахау хотя бы две-над-цать новобранцев...

«И об этом уже пронюхала! — подумал Копиц. — А кто ей сказал, Хорст?»

— Да, — проворчал он вполголоса. — У нас тут произошел прискорбный случай. Преступника мы обнаружили и устроим публичную казнь.

— Этого, я думаю, недостаточно, — усмехнулась Россхаупт. — Убийство немца, который уже одной ногой был в армии, заслуживает официального расследования. Вы уже сообщили в гестапо?

«Ни шагу назад!» — сказал себе Копиц и ответил:

— Спасибо за совет. Я не суюсь в ваш женский лагерь, а вы не суйтесь ко мне. Я в лагерях работаю с тридцатого года, по-моему, достаточно, а? [267]

— Смерть немецкого солдата — это уже не внутреннее дело лагеря. Меня как национал-социалистку, естественно, интересует, что будет, если евреи убьют у нас еще одного мужчину...

— Он был не ваш, Россхаупт! — не сдержался Копиц. — Я понимаю, что мужчины вас интересуют, но этот случай предоставьте мне. Хей-глер!

Он повернулся и зашагал прочь. Надзирательница, казалось, совсем не рассердилась. Наконец-то ей удалось вывести этого противного типа из равновесия, которое раздражало ее гораздо больше, чем его сегодняшняя вспыльчивость. С невозмутимыми людьми шутки плохи, а вот вспыльчивые совершают опрометчивые поступки и тем самым выдают себя с головой. Вспыльчивость легче уязвима.

В наилучшем расположении духа Россхаупт отвела Иолан обратно в женский лагерь, заперла калитку, вручила ключ Лейтхольду и многозначительно подмигнула ему.

— Теперь ты будешь в кухне совсем наедине со своими *номерами*! Ну что, разве я не добрая фея?

10.

Как только Фриц решил, что они миновали часовых, он осторожно высунул голову из-под брезента. Грузовик ехал по ухабистому шоссе, хорошо знакомому Фрицу еще с тех времен, когда он ежедневно проезжал здесь, сидя рядом с фрау Вирт. Когда они въехали в лес, он постучал в заднее окошечко. Фрау Вирт испугалась и

погнала машину еще быстрее. Фриц перегнулся через борт и махнул в левое окно кабины своей арестантской шапочкой.

— Это я! — заорал он, стараясь перекричать ветер.

Только теперь фрау Вирт замедлила ход и подъехала к обочине дороги. Фриц, не ожидая, когда машина совсем остановится, соскочил на ходу и побежал вдогонку. Дверь кабины открылась, выглянула фрау Вирт.

— О господи! — ужаснулась она. — Так я и думала! Что вы наделали, сумасброд! Теперь мы оба погибли!

Фриц бегом обогнул машину и забрался в кабину с правой стороны.

— Не кричите, фрау Вирт, с вами ничего не случится, [268] только не теряйте головы. Поедем дальше, по дороге я вам все объясню.

Машина тронулась. Подбородок фрау Вирт дрожал и стучался о твердый воротник форменной куртки.

— Я так и знала, честное слово, так и знала! Там, около кухни, когда садился Ян, я заметила, что машина чуть наклонилась влево, в мою сторону. Я молилась, чтобы это были не вы...

Фриц не обращал внимания на ее причитания и зорко глядел в окно.

— Вот здесь можно, — вдруг сказал он. — Сверните-ка на эту дорогу, где запретный знак.

Она повиновалась. Промелькнул столб с дорожным знаком «Въезда нет, частная территория», и машина помчалась по почти цельному снегу.

— Что вы хотите?.. Куда?..

— Езжайте еще полкилометра и остановитесь.—Он взглянул на нее самым пылким взглядом, на какой только был способен. — Ну, улыбнитесь же, фрау Вирт! Теперь мы в безопасности.

— Бога ради, не говорите так! Какая же безопасность! Нас вот-вот схватят... Вернитесь, прошу вас, скройтесь!

— Ах, фрау Вирт, не уверяйте, что вы не хотели побыть со мной наедине! Ручаюсь, что с вами не случится ничего страшного. Никто нас не преследует, никто не знает, что меня сейчас нет в лагере. Я вернусь прежде, чем это заметят... У меня есть тайная лазейка в ограде, где можно незаметно пролезть... Я вам никогда не говорил?

— Вы лжете! Вы готовились к побегу, вы спрашивали мой адрес...

— Для того, чтобы удрать вечером, провести ночь у вас, в Мюнхене, и вернуться к утру в лагерь. А сейчас подвернулась возможность сделать это днем... Вы же знаете, что у меня особое положение в лагере. Сам рапортфюрер Копиц сказал мне, что я ему сегодня не понадобится...

— Я не верю ни одному вашему слову, ведь только что, в лагере, вы говорили... И потом... у вас... там... утром было убийство...

— Я просто хотел вас напугать. Напрасно я это сделал, но мне хотелось проверить, любите ли вы меня, [269] готовы ли ради меня на риск... — Он обнял ее левой

рукой за плечи и прижал к себе. Фрау Вирт упиралась, но Фриц, тяжело дыша, стал целовать ее в лицо.

— Не спорю, вы мне нравитесь, — произнесла она, оттолкнув его наконец. — Потому я и не хочу, чтобы вас казнили из-за меня. Я знаю, что в лагере очень плохо, но все-таки вам там будет легче дождаться конца войны, чем в Мюнхене... У нас кругом гестаповцы... и потом воздушные тревоги... Вот и сегодня ночью...

— Мне все равно! — он снова прижал ее к себе. — Будьте же хоть на минутку ласковы со мной, даю честное слово, что я сразу же вернусь в лагерь. Я не хотел бежать, я только...

— О боже, не лгите и отпустите меня... Мы на дороге, каждую минуту кто-нибудь может...

— Что вы, что вы, фрау Вирт, никто нас не увидит. Будьте со мной на минутку ласковы, и я тотчас уйду отсюда... Прошу вас... Не видите вы, что ли, как я страдаю?

Он отлично разыгрывал страсть и даже слегка распалился, несмотря на свою холодную натуру, однако не забывал ни об одном пункте заранее продуманного плана. «Нужно заполучить ее форменную одежду чистой, без крови... Нож у меня с собой, но я воспользуюсь им только в крайнем случае. Мне нужны ее ключи и документы. Форма мне будет великовата, особенно брюки, ну, не беда. Поеду на Ольденбургерштрассе, 68, машину оставлю перед домом, поднимусь в квартиру на четвертом этаже. Если привратница или соседка спросят, кто я такой, скажу — шофер, товарищ по работе, она, мол, меня послала взять кое-что. Спокойненько отопру квартиру, выберу себе костюм и пальто... У нее ведь муж и двое сыновей на фронте, что-нибудь подходящее наверняка найдется... а заодно еда и какие-нибудь деньжата. Потом обратно в машину, вон из Мюнхена — и фьюить, пока хватит бензина!»

— Фрау Вирт, — сказал он вкрадчиво. — Я сейчас же вернусь в лагерь. Не бойтесь же, фрау Вирт, обнимите меня разок. Обнимите своего черного цыганенка!

Он целовал и уговаривал ее до тех пор, пока она перестала сопротивляться, опустила руки и даже сама обняла его, улыбнувшись сквозь слезы... [270]

В лагере тем временем происходили столь серьезные события, что о Фрице никто и не вспомнил. Как только Россхаупт уехала. Копиц выставил из конторы Зденека и Бронекка и вызвал туда писаря, Хорста и Карльхена. Сам он уселся за стол, трое проминентов стояли перед ним навтыжку.

— Нечего сказать, здорово мы влипли! — начал рапортфюрер почти торжественным тоном. — И влипаем все больше и больше. Карльхен, ты величайший болван. С какой стати ты затеял всю эту шумиху? А ты, писарь, безмозглый дурак, зачем ты его послушался и полез ко мне с рапортом? И наконец ты, Хорст, последний кретин, неужто у тебя не хватило хоть настолько ума, чтобы не выболтать все надзирательнице? Молчать, ни слова! Видите, я с вами разговариваю по-человечески, не как с заключенными, а как с будущими солдатами Германии. Но если вы воображаете, что в четверг спокойненько уедете в Дахау и всю эту возню с рабочим лагерем свалите на дядюшку Копица, то страшно ошибаетесь. Мне сейчас не остается ничего другого, как известить гестапо о случившемся. Но вам от этого будет мало радости. Вы мне поможете уладить дело

и доказать ищейкам из гестапо, что мы уже приняли меры, а они запоздали. И горе вам, если вы не проведете все это как следует! До четверга мне еще хватит времени, чтобы расправиться со всеми вами... легально, без янкелевской бритвы. Так что берегитесь! Слушайте же и рассуждайте вместе со мной, учитесь мыслить государственно. Итак, во-первых... — Копиц расстегнул воротник и перевел дыхание. — Во-первых, парикмахер. Его мы отдадим живым, пусть увозят! Во-вторых, мы скажем им, что отстранили и наказали старшего врача за то, что тот знал и не доложил об эпилепсии. Что получит Оскар? Двадцать пять горячих. Кого мы назначим старшим врачом? Санитара Пеппи. У него, правда, не все дома, но до четверга он ничего не успеет напортить, а гестаповцам понравится, что лазарет возглавляет ариец. Когда его увезут вместе с вами на фронт... ну, там будет видно. А теперь третье и самое важное: произойдет стихийное выступление немецких заключенных против евреев. Чтобы все прошло быстро и гладко, разрешаю вам погромить два — слышите, два! — лазаретных барака... Там лежит человек сто, в большинстве поляков. Так вот, возьмите палки и обработайте их. [271] Все равно это безнадежные больные, так что в лагере станет посвободнее. Но берегитесь, если вы изобьете хоть одного здорового! Особенно чтобы Фриц не слишком усердствовал. Где он вообще?

Никто из присутствующих не знал, где Фриц.

— Передайте ему это. Отвечает за все Карльхен. Собери своих людей, возьмите дубинки покрепче, и марш! Не позже чем через час писарь придет и доложит мне, что в лагере начался погром. Мы с Дейбелем тотчас же прибежим на место происшествия. Он, может быть, даже выпалит разок из пистолета, а вы организованно отступите. Потом мы сложим мертвых на апельплаце, Оскара свяжем, отвесим ему двадцать пять, а я позвоню в гестапо, чтобы они приехали поглядеть на жертвы и поскорей убралась восвояси. Вот, кажется, и все. Еще раз напоминаю: вы знаете, в какой спешке мы заканчиваем последние бараки. Боже вас упаси, чтобы из-за вашего стихийного выступления остановилась работа на стройке... Карльхен, что ты глядишь на меня, как баран? Тебе понятно?

Рослый капо выкручивался, как вызванный к доске ученик.

— Я бы сказал, что такая месть... по команде... как-то не радует душу, герр рапортфюрер. Лучше пусть это дело возглавит Фриц, он просто создан для расправ с жидами. А я... вы ведь знаете, что я заварил эту кашу только потому, что был зол на Эриха...

Копиц вскочил. Он устал, разрабатывая сложный план действий и втолковывая его этим тупицам, и больше не намерен был терять времени.

— Ну, что еще, склочные вы бабы, что еще?! Он придирается к твоему мальчишке, а ты зол на чеха, его помощника?! Так вот что, Карльхен, одного здорового я тебе разрешу пристукнуть: этого самого чеха...

Но тут вмешался Эрих. Трудно сказать, так ли важна для него была жизнь какого-то Зденека, но дело коснулось престижа конторы. Убивать человека, которого он выбрал себе в помощники? Он, Эрих Фрош, должен будет безропотно смотреть, как Карльхен ворвется к нему в контору и будет там размахивать дубинкой? Ни за что!

— Герр рапортфюрер, я протестую! Еще раз заверяю, что мой чех ни словом не

жаловался мне ни на капо [272] Карльхена, ни на этого его... Чех — способный парень, конечно, многого он еще не умеет, но, герр рапортфюрер, надо же подумать и о будущем. Что, если в четверг я не вернусь из Дахау? Кто же будет работать в конторе? Так быстро не подготовишь замену...

— Это верно, — Копиц почесал за ухом. — Согласись, Карльхен, нельзя же ради тебя перевернуть все вверх ногами. Эрих сказал тебе, что чех тут ни при чем, чего же тебе еще?

Карльхен с досадой махнул рукой.

— Ничего мне больше не надо... И вообще не стану я связываться с этим делом. В четверг мне уже будет на... на весь Гиглинг...

— Нет, этак не годится! — вмешался бравый Хорст. — Я еще староста лагеря и говорю тебе, Карльхен, как немец немцу, что мы не можем оставить герра рапортфюрера одного расхлебывать всю эту кашу. Может быть, и в самом деле лучше, чтобы Фриц возглавил эту стихийную месть. Разрешите, я схожу за ним.

— Не сейчас! — Копиц поднял руку. — Можете потом, мне все равно. Я больше ничего не хочу слышать, иду в комендатуру и не позже чем через час жду рапорта. Вас, зеленых, двенадцать человек, покажите-ка, на что вы способны! Да не забудьте, что в четверг я буду давать призывной комиссии отзыв о вашей благонадежности. Если я им распишу, какие вы «*treu und bieder*» <«Верные и добропорядочные» (нем.)>, как вы боролись с внутренним врагом в лагере и все прочее, то учтите, бандюги, что в армии вам это очень пригодится. Ну, марш!

И Копиц быстро вышел из конторы.

* * *

Когда в верхах готовилось что-то, могущее коренным образом изменить жизнь хефтлинк, бараки обычно охватывало своеобразное возбуждение, которое в лагере называли «транспортной горячкой». Казалось, что все пространство внутри лагерной ограды, между шестью сторожевыми вышками, затянато, как паутиной, сеть чувствительных нервов. Самый незначительный импульс молниеносно передавался во все стороны. То, что предчувствовал один хефтлинк, через минуту знал другой. [273]

С того момента, как в немецком бараке раздался крик Берла: «Герр Пауль... Янкель... Помогите!», весь лагерь был в напряжении. Даже новички понимали, что беда не приходит одна: убийство Пауля повлечет за собой много других смертей. Все, притаившись, ожидали эту лавину смерти.

Пока в лагере находилась Россхаупт, беспокойство немного улеглось, но это было лишь гнетущее затишье перед бурей. Более предприимчивые узники засуетились, стараясь использовать это затишье, чтобы исподволь как-то защитить себя. Похоже было, что пока гроссмейстеры на минуту отвлеклись от игры, некоторые шахматные фигуры ожили и потихоньку передвигаются на более безопасные места. Общая тревога от этого только усилилась.

Как только появились первые признаки того, что гнев «зеленых» будет обращен на лазарет, юный Берл выскользнул из немецкого барака и побежал к своему отцу. Старый Хаим Качка приехал в Гиглинг больным и по сравнению с другими больными был в привилегированном положении: по протекции сына он водворился

на одно из лучших мест лазарета, куда не могли попасть даже тяжело больные узники. Питался отец Берла тоже много сытнее других. Сейчас Берл с той же бесцеремонностью, с какой он несколько дней назад добивался приема отца в лазарете, стал требовать, чтобы старика выписали оттуда. Он препирался с санитаром Фюреди, твердя, что в лазарете больше вшей и хуже кормежка, чем в бараке; лучше, мол, он возьмет отца обратно.

— А где у тебя записка от писаря? — кричал Фюреди. — Без записки никто отсюда не выйдет!

— Какое нам дело до писаря, плевать мне на него! — еще нахальнее кричал Берл. — Отец тут не останется ни одной минуты! — Казалось, он готов кинуться на санитаров и выцарапать им глаза. В конце концов он стащил с постели плачущего, сбитого с толку и упирившегося отца и увел его из больничного барака.

После этого короткого инцидента в лазарете начался переполох. Вслед за Качкой потянулись другие больные. Без долгих разговоров и шума они выходили из барака, а если Фюреди пытался задержать их, говорили, что идут в уборную. Вскоре стали разбегаться больные и из второго лазаретного барака. Всякий, кто мог идти или хотя [274] бы с трудом тащиться, ни за что не хотел оставаться на нарах. «Что случилось? В чем дело?» — взволнованно шептали больные и тотчас передавали дальше то, что слышали от соседа: «Никто ничего толком не знает, но похоже, что будет отправка больных в газовые камеры!»

В проходе у лазарета толкались люди. Многие удрали в одном белье и не знали, куда бы поскорее скрыться. В уборной было не теплей, чем на улице. В жилых бараках уже произошло несколько стычек: блоковые палками выгоняли больных, пытавшихся вернуться на свои прежние места, сейчас уже занятые другими.

Тут в дело вмешались врачи и кое-кто из друзей арбейтдинста Фредо. Пока Копиц в конторе инструктировал трех главарей «зеленых», в лазарет потихоньку прибежал санитар Пепи. В придурковатом Пепи вдруг заговорила совесть. Ему, как и Карльхену, не по вкусу была «стихийная месть по приказу», а кроме того, Оскар столько раз помогал ему в трудную минуту, что Пепи просто не в силах был предать его.

— Слушай-ка, — прошептал он, отведя Оскара к окну в глубине барака. — Они все против тебя и вообще против лазарета. Не знаю, о чем они сейчас сговаривались в конторе, но Копиц, видно, хочет все свалить на вас. Пойми меня... я немец, и в четверг мне призываются... Не идти же мне в армию с плохой аттестацией... Напишут, чего доброго, что я изменник родины и жидовский пособник. Не требуй от меня многого, я сделаю, что могу, но для вида мне придется быть заодно с ними. А вы позаботьтесь о больных. Кто останется в лазарете, за того я не поручусь. А сейчас не сердись, я бегу обратно.

Блоковый Вольфи пришел сразу же вслед за Пепи и сказал еще яснее:

— Слушай-ка, Оскар, не болтай об этом и не устраивай паники, а быстро переведи ко мне в барак тех, кого тебе нужно убрать из лазарета. Можно еще в двадцать седьмой, там блоковым Гельмут — честный немец. Действуйте тихо, незаметно, никого не пугайте. Не забудь, что в бараке рядом со мной хозяйничает Фриц. Пошлите или принесите к нам кого хотите, но осторожно. А теперь самое важное. К тебе сейчас придет кое-кто из наших: Клаус, Гастон, Жожо, Дерек и Диего со

своей тотенкомандой. Фредо мне сказал, что ты, наверное, будешь [275] недоволен, поэтому я и зашел предупредить. Не дури, пусти их сюда, не смущайся, что они с палками... погоди, дай сказать! Это нужно, иначе будет худо. Судя по всему, на вас нападут только зеленые, так что особенно бояться нечего. Эрих, видимо, вовсе не пойдет, Фердл и Пепи — едва ли. Остаются, стало быть, включая Хорста, девять человек. Всерьез опасны только Карльхен и Фриц, да еще Коби и Гюнтер. Но наши ребята дадут им отпор. Если не вмешаются эсэсовцы, мы от них отобьемся. А если вмешаются, то все равно хуже не будет. Сейчас главное в тебе: не мешай, понял?

Едва он договорил, как появились его друзья. Оскар и запротестовать не успел. Первым пришел Диего, в берете, с толстым шарфом на шее и лопатой в руке. За ним Клаус и Жожо с дубинками и элегантный Гастон с тонкой гибкой палкой.

— Ну, ну, это еще что? — Оскар пошел им навстречу. Он был тронут, но скрывал это обычной воркотней. Глаза его горели темным огнем, подбородок был воинственно выпячен.

— Никс, ничего, *pas du tout* <Ничего (*франц.*)>, — медленно сказал Жожо. — У меня есть кое-какие счета с Фрицем. Я подожду его здесь.

Диего молчал. Он влез на нары возле двери, поджал ноги и принял выжидательную позу.

Вольфи обнял Оскара за плечи.

— Оставь их и не задерживайся здесь, у тебя сейчас много дел с больными. Лучше всего, если доктора совсем уйдут отсюда. Делайте вид, что вы не знаете, что мы здесь, и занимайтесь теми двумя бараками, где больные. Ну, иди, иди, Оскар!

Старший врач стиснул зубы, дружески кивнул всем собравшимся и вышел.

— Ну, с самым трудным справились, — усмехнулся Вольфи и пошел вслед за Оскаром. На улице он увидел Шими-бачи.

— Слушай-ка, старый, здесь ты нам не нужен. Пошел бы ты сейчас в женский лагерь, устрой врачебный осмотр и оставайся там, пока мы тебя не позовем!

Щеки Шими-бачи были, как всегда, румяны, глаза смотрели бодро. [276]

— Куда там! И не подумаю уходить! Девушки там в безопасности, а мне и здесь есть о ком позаботиться... вот хотя бы о Феликсе. Не оставлять же его в лазарете?!

В этот момент вбежал Зденек. Ему передали, что Берл бахвалился: Карльхен, мол, первым делом пристукнет чешского писаря. Зденек поговорил с Фредо, и тот послал его сюда, в лазарет. Зденек был бледен и взволнован, но полон жажды действия. Это лучше, чем молча ждать, пока тебя зарежут, как барана.

— Поди сюда, — сказал Шими-бачи. — Прежде всего, отнеси-ка Феликса в четырнадцатый барак и положи его где-нибудь, хотя бы на свое место. Блоковый не откажет тебе в такой пустяковой услуге.

— И еще вот что, — добавил Вольфи и взял Зденека за рукав. — Ты ведь уже окреп и не похож на мусульманина. Найди-ка себе дубинку и живо возвращайся обратно в лазарет. Скажи Диего, что тебя прислал я.

Врачи обходили больных и шептали им: «В двадцать первый или двадцать седьмой барак!»

Фредо поспешил на стройку, взяв с собой Бронек. Там он подошел к Гонзе Шульцу.

— Есть у тебя несколько надежных чехов? Организуй их вместе с поляками, которых тебе укажет Бронек. Каждому надо сказать, что зеленые готовят налет на лазарет. Если это произойдет, все вы сразу перестанете работать. Ясно?

Гонза улыбнулся.

— Ничего не делать — моя специальность. Но будет ли этого достаточно?

— Вероятно, будет. Пока. А если понадобится еще что-нибудь, я приду сам или пришлю Бронек.

К ним подошел Мирек. Фредо побежал дальше. Гонза подозвал Ярду и объяснил ему и Миреку, в чем дело.

— А если придут эсэсовцы? — опасливо возразил Мирек.

— Придут, придут!.. Пока они не пришли, не можем же мы спокойно смотреть, как зеленые громят лазарет.

Ярда кивнул и быстро обошел нескольких чехов. Бронек тоже не медлил. Греки уже все знали от Фредо, а на стройке за ними было решающее слово, потому что это были старые хефтлинки и лучшие работники. Рапортфюрер Копиц ушел из лагеря, а Карльхен с Хорстом [277] стали искать Фрица. В бараке его не оказалось, штубак не видел его с утра. Среди немцев его тоже не было, он ушел из немецкого барака после первой ссоры с писарем, еще до того, как тотенкоманда унесла Пауля в мертвецкую.

— Где же он, черт подери? — хрипел Эрих. — Задерживает всех нас!.. Может быть, Зепп знает?

— Зепп сторожит Янкеля в мертвецкой.

— Коби, сбегай туда, спроси его. А ты, Гюнтер, дойди до кухни, ударь в рельс и вызови капо-электрика.

Коби побежал по апельплацу. Темное строенье мертвецкой торчало среди талого снега; ее дверьми сегодня не хлопал ветер, они были забиты гвоздями, и за ними слышался писклявый голосок Янкеля.

Зепп стоял у двери, глядя в щелку. Он помахал Коби рукой.

— Погляди, что он делает, совсем спятил.

Коби заглянул в щелку и не сразу понял, что там происходит. На полу лежали голые трупы, и трудно было разобрать, который из них Пауль. В углу, недалеко от двери, стоял тщедушный Янкель, тоже голый и синий от холода, и легонько, но упорно стучал лбом о стену.

— Ты у него отнял одежду? — удивился Коби.

Зепп усмехнулся.

— Все равно штаны не держались бы на нем без пояса. А кроме того, все обитатели мертвецкой должны быть голые.

— Не дури, — сказал Коби, — рапортфюрер хочет сдать его в гестапо. Брось-ка ему одежду в окно, а то он замерзнет прежде, чем его повесят. И пойдем со мной.

— А если он удерет?

— Окно высоко. Да и куда ему удрать в лагере? Сейчас есть дело поважнее. Не знаешь, где Фриц?

Зепп лениво нагнулся за кучкой одежды, лежавшей рядом, и ехидно взглянул на Коби.

— Не прикидывайся, что ты сам не знаешь.

— Откуда мне знать? Его всюду ищут. Он должен вести нас на лазарет.

Зепп взял брюки Янкеля, вынул из них пояс, свернул его колечком и сунул в карман.

— Разве ты не видел, что сделал Фриц, когда мы выгрузили хлеб?

Коби покачал головой. Зепп подошел поближе. [278]

— Даешь слово, что это останется между нами? Фриц сейчас, наверное, сидит в Мюнхене и пьет пиво.

Коби вытаращил глаза. Зепп был горд таким эффектом.

— *Da bleibt dir einfach die Spucke weg!* <Что, ошалел и слова не выговоришь! (нем.)>

— Он ухлестывал за шофершей, — сказал наконец Коби. — Но где она его спрятала?

— Я сам видел, — похвалился Зепп. — Здорово он смотался: через борт и под брезент. В воротах никто не заметил.

— А нам что делать? Ты же знаешь, что это может нам дорого обойтись.

Зепп пожал плечами.

— Этот лагерь — не то, что прежние. В старом Дахау нас бы заставили стоять на апельплаце, пока беглеца не поймают. Два или три дня. А в Гиглинге такие штучки уже не в ходу. Кроме того, мы с тобой нужны им в четверг для призыва. Нас не прикончат, бояться нечего.

— Скажи о Фрице хотя бы писарю. В конторе и без того дым коромыслом. А тут еще такой сюрпризец.

— И не заикнись. И ты тоже. Пусть-ка его поищут. Чтобы мне отсчитали двадцать пять горячих за то, что я не донес сразу? А кроме того, может быть, никто не узнает, как он удрал, и эта шоферша будет по-прежнему ездить к нам. Что, если ты и я тоже попробуем?..

Коби пришлось согласиться, что Зепп прав. Они вместе отправились в контору, твердо решив молчать как рыбы. В крайнем случае они посвятят в это Гюнтера, третьего члена абладекоманды.

Послышался звон рельса, десятки голосов повторяли на все лады: «Монтер! Монтер!», но Фриц не появлялся. Писарь, красный как рак, побежал к Лейтхольду.

— У нас не хватает одного человека. Никак не доищемся, герр кюхеншеф. Этот наглец способен перелезть в женский лагерь и валяться там где-нибудь. Прежде чем я доложу коменданту, прошу вас, давайте пройдем все три женских барака, может быть, накроем его там.

Лейтхольд вышел из кухни и заковылял к калитке. Он и писарь прошли в женские бараки и осмотрели там все закоулки — что было довольно несложно, — но видели лишь испуганные взгляды девушек. Блоковые [279] женских барачков качали головой и, видимо, вполне честно говорили, что, кроме фрау надзирательницы, сегодня в женском лагере не появлялся никто; даже доктор Шими-бачи еще не приходил.

Карльхен тем временем уперся, как бык: он не поведет «зеленых» на погром лазарета и вообще без Фрица не пойдет ни на что. Зепп, правда, для виду заявил, что готов возглавить это дело (ему хотелось отвлечь внимание от Фрица), но никто из «зеленых» не отнесся всерьез к его предложению.

Писарь вернулся из женского лагеря, ухватил Хорста за рукав и прохрипел, что с него хватит: он немедленно идет в комендатуру и доложит об исчезновении заключенного. Из-за такого стервеца, как Фриц, он не намерен получить порцию горячих. Хорст разубеждал его, но не очень настойчиво. «Писарь-то прав», — думал он; у немцев постепенно возникла уверенность, что, как ни кинь, хуже этого дурацкого налета на лазарет ничего не придумаешь. «Зеленые» уже знали, что там им предстоит схватиться с Диего и его товарищами.

Писарь зашагал к воротам и оттуда в комендатуру, к Копицу. Там было, как всегда, жарко натоплено. Дейбель стоял у стола, собираясь идти в лагерь, и затягивал ремень и португую, на которой болтался большой револьвер. Копиц налил ему для бодрости рюмку водки, другую рюмку держал в руке.

— Хвати-ка рюмашку, — подмигнул он Дейбелю. — Вон как раз идет писарь, видно, хочет доложить нам, что в лагере что-то стряслось.

Эрих вытянулся в струнку.

— Простите, но я по другому делу. Произошла еще одна неприятность: видимо, сбежал заключенный Фриц.

Копиц поперхнулся водкой и закашлялся. Дейбель выхватил из-за голенища красную резиновую плетку и бросился к писарю.

— Ты его выжил из лагеря! Фриц отличный немец, а ты на него взелся!

Копиц оттащил Дейбеля, но сам не мог произнести ни слова.

— Не мешай, Руди... Это ты хотел вздуть Фрица, и если бы не писарь... Ты сам виноват...

— Я? Фриц был мой человек! От меня он не сбежал бы! [280]

— Молчать! — рявкнул Копиц. — Назад! — И сам накинулся на писаря. — Если бы только не призыв в четверг, если бы у меня не становилось все меньше зеленых, я бы тебя пристрелил, писарь, ты этого заслуживаешь!

Эрих не чувствовал за собой вины, но понимал, что сейчас лучше помалкивать.

— Нужен общий сбор! — кричал Дейбель. — Иначе я снимаю с себя ответственность!

— А на ком, собственно, лежит эта ответственность, на тебе или на мне? Никаких сборов! Фриц наверняка где-нибудь в лагере, через ограду он не полезет, я его знаю. Руди, немедленно проверь, включен ли ток. И обойди часовых, узнай, не заметили ли они чего-нибудь подозрительного. Писарь, мы с тобой идем к воротам.

У ворот Копиц допросил часового.

— Ты стоишь с утра. Кто выходил из лагеря?

— Писарь, вот уже в третий раз. Девушки вышли на работу, как обычно. Потом Ян с грузовиком, потом надзирательница... И вы сами, герр рапортфюрер. Вот и все.

— Тележка еще не выезжала за строительными материалами?

— Никак нет. И тотенкоманда тоже.

— Кто ездил за хлебом? Зепп?

— Так точно. Он и Ян. Когда машина возвращалась после разгрузки, я заглянул через борт, все было в порядке.

— Шофера ты знаешь?

— Как не знать, фрау Вирт ездит каждый день.

Копиц вошел в лагерь.

— Фриц не сбежал, — проворчал он. — Он где-то у баб.

— Я тоже так думаю, — отважился вставить писарь, поспешая за рапортфюрером.

— Мы с герром кухеншефом осмотрели все женские бараки и уборную.

— Неужели он все-таки смылся? А впрочем, на Фрица это похоже, — взорвался Копиц. — Восемь лет просидеть в лагере — это его устраивало. А как пришлось отправляться на фронт, наострил лыжи! Писарь, мы сделаем переключку в бараках.

— Сегодня это будет трудновато... Взгляните сами, герр рапортфюрер... — Писарь указал на главный проезд. Там было полно людей. Общее беспокойство, ожидаемый погром, бегство больных из лазарета — все это [281] превратило лагерь в кишаший муравейник. — Это значило бы задержать стройку, а она до сих пор шла бесперебойно...

Копиц остановился. Он и вправду не знал как быть. У ворот тем временем вновь раздалось «Achtung!», и подошел Дейбель.

— Ну что? — издали крикнул ему Копиц.

— Ничего. Никто его не видел.

— Грузовик — это единственная возможность, — вслух размышлял Копиц. — Он влез под машину, уцепился там как-нибудь и уехал... Слушай-ка, — обратился он к Дейбелю, — собери всех блоковых на апельплаце, скажем им напрямик, что ищем Фрица. Если кто-нибудь укрыл его, повесим обоих! Постарайся вытянуть из них все, что они знают. Но общего сбора не будет! Стройка не должна останавливаться ни на минуту, это решено.

И он поспешил к себе в комендатуру. Оттуда он позвонил в мюнхенские пекарни узнать, вернулась ли машина из Гиглинга. Через некоторое время ему ответили, что нет. Наверное, мол, она задержалась в лагере номер 3, ей уже не раз приходилось ждать там лишний час из-за общих сборов или воздушной тревоги...

Копиц оживился.

— Сегодня у нас не было ни сбора, ни тревоги. Есть серьезное подозрение, что ваш шофер помог бежать заключенному. Срочно найдите ее, известите полицию. Как

только что-нибудь выяснится, немедленно позвоните мне.

Дело принимало интересный оборот. Копиц снял мокрую от пота рубашку, бросил ее на стул, налил себе еще рюмку и стал глядеть в окно на апельплац, где Дейбель с плеткой в руке носился перед блоковыми. Те стояли, не шелохнувшись, смиренные, как овечки.

Стоит ли ждать результатов расследования? Рапортфюрер усмехнулся. Несмотря на весь этот переполох, в его голове родилась спасительная идея. Он уже знал, как сохранить спокойствие в лагере, оградить себя от кляуз Россхауптихи и одновременно покончить с делом Пауля и Фрица. Все единым махом! Усевшись за стол, он позвонил в гестапо и спокойно, по всем правилам службы доложил:

— В моем лагере произошли два серьезных происшествия: убит один заключенный и исчез другой. Они были друзья, оба немцы, оба зеленые. Беглец, опасный [282] уголовник, устранил своего соучастника за то, что тот хотел выдать его в последний момент. Скорее всего, беглец совершил убийство собственноручно, но не исключено, что он понудил к нему другого заключенного, который сейчас у нас в руках. Этот второй во всем признался, и вы можете за ним приехать. Далее мы установили, что побег был организован в сговоре с сообщниками. Есть веские основания полагать, что в их числе шофер автомашины фрау Вирт из мюнхенских пекарен...

Разговор был долгий и обстоятельный. Копиц говорил так убедительно, что сам почти поверил в свою версию. Виновник смерти Пауля не кто иной, как Фриц, и он же сбежал с помощью сообщников. Подумать только: преступление закоренелого убийцы и бегство при участии пособников, — нет, господа, комендатуре лагеря «Гиглинг 3» не по плечу такой сложный случай. Мы — рабочий лагерь, и только. Обыкновенный рабочий лагерь, да-с!

11.

Работа на стройке шла бесперебойно, и Копиц улыбался. Он сам себя не узнавал: чего только он вчера не сделал, чтобы лагерю (и ему самому) жилось спокойно. От гестапо он отделался просто изумительно, Дейбеля обуздал, и даже «зеленые» были рады, что во всей этой суматохе как-то забылась затея с мстостью за Пауля. Сегодня воскресенье, к вечеру будут готовы последние бараки, партия новичков еще не прибыла, — все, стало быть, идет как по маслу, в понедельник выйдем на внешние работы и как-нибудь дотянем до конца войны.

Копица особенно устраивало, что гестаповские агенты кинулись преследовать Фрица, а в лагерь даже не заглянули. Идя по следам грузовика на талом снегу, они уже через два часа обнаружили труп фрау Вирт в лесу, в восьми километрах от Гиглинга. Тем самым подтвердилась версия Копица, а новое преступление Фрица даже придало ей большую убедительность. Убийца в шоферской форме, мчащийся в машине по дорогам Германии, — это была соблазнительная приманка для полиции. Комендатуру лагеря «Гиглинг 3» они оставили в покое. Сверху, наверное, пришлют потом какого-нибудь чинушу, который проверит состояние охраны лагеря и напишет заключение [283] о том, что ее необходимо усилить. Но это, конечно, не будет стоить Копицу головы: происшествие явно переросло компетенцию рядового рапортфюрера.

Правда, показания Фрица могут смешать все карты Копица. Но рапортфюрер не

очень тревожился на этот счет. Во-первых, не известно, поймает ли гестапо этого красавчика, а если поймает, то живым или мертвым. Если даже живым, то ясно, что гестаповцы не станут с ним долго канителиться. Беглый заключенный, убийца... В гестапо умеют заставить человека сказать то, что нужно, и ни слова больше. Нет, можно не беспокоиться о дальнейшей участи какого-то Фрица.

Не лучше ли, кстати, дать понять кому-нибудь из заключенных — хотя бы и Оскару, — что рапортфюрер, собственно говоря, спас лазарет: свалив на Фрица вину за убийство Пауля, он, Копиц, помог евреям. Кто знает, может быть, такое показание лагерного врача когда-нибудь очень пригодится рапортфюреру. Как-никак сейчас ноябрь 1944 года...

* * *

Настроение заключенных в лагере заметно улучшалось. Тревога уменьшилась, дружеские связи между узниками, прежде возникавшие с трудом, с оглядкой, теперь, в минуту опасности, окрепли. «Красные» радовались, что не дошло до рукопашной с «зелеными». Солидарность при обороне лазарета была многообещающим началом, почти генеральной репетицией того момента, когда все заключенные, вооружившись палками и камнями, добьются лучшего обращения или даже свободы.

Диего, встретив Зденека, подмигнул ему, как давнему союзнику. «Это ты, чех, приходил к нам с палкой помогать обороне лазарета? — говорил его смеющийся взгляд. — Еще недавно ты был мусульманином, а вчера, смотри-ка, уже полез в драку!» Вслух он сказал:

— Я знаю чехословаков. Батальон Клемента Готтвальда, *miu buena gente*. Хорошие ребята. Твои земляки храбро сражались у нас, в Испании.

Зденек просиял. Дружеские слова человека, которого он так уважал, обрадовали и ободрили его. Осмелев, он спросил:

— Не знал ли ты на мадридском фронте Иржи Рoubичека, журналиста из Праги? [284]

— Робича? — повторил Диего, подумал и покачал головой. — Не помню. Фелип Диац из моей команды долго был под Мадридом, я у него спрошу. А ты где воевал?

Зденек потупился. Он не всегда был таким, как теперь; прежний Зденек не взял бы в руки палку, не пошел бы защищать лазарет. Заговорив о его прошлом, испанец коснулся больного места. Сколько раз сам Зденек терзался вопросом: почему я тогда остался дома, почему не воевал?

Иржи, его брат, сразу же, еще в 1936 году, вступил в Интербригаду. Жизнь у него сложилась нескладная, бурная. Иржи был бунтовщиком по натуре, которого несколько не беспокоило, что в его полицейском досье прибавится компрометирующий материал. А Зденек, ну, Зденек — совсем другое дело, он не был так опрометчив. Мамин любимец, Зденек поддался уговорам и остался в Праге. А ведь он, быть может, не хуже Иржи знал, что поставлено на карту в Испании. Слова «в Мадриде мы защищаем Прагу» были просты и убедительны. Но столь же простыми и убедительными казались тогда Зденеку доводы против того, чтобы внезапно покинуть родной дом: незаконченное образование, карьера на киностудии...

Зденек твердил себе, что, став человеком с солидной профессией, он сможет больше сделать для прогрессивного движения. Что пользы от безвестного недоучки, который зарыл талант в землю? Не лучше ли сначала показать себя на родине, например стать видным режиссером, а потом заговорить в полный голос и, так сказать, сверху устремиться к той же цели, к которой Иржи пробивается снизу, с помощью неблагодарного труда в окопах? Зденеку удалось уверить себя, что он не эгоист, что успехов в университете и на киностудии он добивается лишь затем, чтобы со временем быть полезнее в боевых рядах партии. Добившись твердого положения в жизни, он будет стократ полезнее прртии, чем как безыменный рядовой...

И он остался в Праге. Мамаша говорила, что Иржи терзает ее сердце, а вот Зденечек — ее утешение. Было приятно слыть хорошим сыном. Но пришел день, когда все мечты и самообольщения потерпели крах и хороший сын оказался не таким уж хорошим. Едва ли не в тот же день, когда пал Мадрид, Зденека уволили из киностудии «Баррандов», несмотря на то, что в полиции у него [285] было безупречное реноме — за ним не числилось никаких крамольных поступков. Потом мать увезли с первым еврейским транспортом в Польшу, и хороший сын ничего не мог сделать для ее спасения. Прошли сотни мрачных ночей, наполненных мучительными думами; мысль Зденека неизбежно возвращалась к испанским событиям: вот когда надо было действовать! Быть может, стоило тогда взять оружие в руки, и не было бы теперь этого страшного кошмара...

Сейчас Зденеку казалось, что в смеющихся глазах Диего он видит тот же давний упрек. Эх, до чего трудно было ответить: «Нет, товарищ, в Мадриде я не воевал!»

— Я был тогда слишком молод, — тихо сказал Зденек. — И не пошел с братом. Я... я жалею об этом, честное слово!

— *Está bien*, всё в порядке,- сказал Диего, потрепал Зденека по плечу и наконец-то отвел от него свои черные глаза. — У Фелипа Диаса я при случае спрошу. *Salud!*

* * *

Арбейтдинст Фредо заглянул в лазарет.

— Ну что, Оскар, все еще ходишь в старших врачах?

Оскар насутился.

— Вы все посмеиваетесь, словно произошло что-то очень отрадное. А я не вижу никаких причин радоваться. Меня не разжаловали и не избили, вот вам и вся радость! Да будет тебе известно, что мы как раз собираемся идти в контору и сообщить, что этой ночью у нас в лазарете умерло пятнадцать человек. Почему — понятно: вчерашний переполох, переходы из барака в барак, блуждание на холоде... Но тебе, конечно, как всегда, важна только политика. Если тебе удаются твои интриги, тебе на остальное наплевать.

— Не ворчи, Оскар, — возразил неунывающий Фредо. — Ты отлично знаешь, что мы были на волосок от того, чтобы иметь не пятнадцать, а сотню мертвых... и ты мог бы быть среди них. Мне не меньше, чем тебе, жаль каждой человеческой жизни, но те, кого мы еще можем спасти, для меня важнее тех, кому уже нельзя ничем помочь. С Янкелем вы допустили ошибку, уж ты не спорь: нельзя было оставлять его парикмахером. В прежнем концлагере тебя повесили бы за такое

упущение. А сейчас ты жив и даже продолжаешь носить повязку старшего [286] врача. Неужто тебе не ясно, что это просто замечательно? Это же настоящая перемена в лагерном режиме! Может быть, я не такой уж дурак, если верю, что большинство наших людей доживет до конца войны.

Оскар махнул рукой.

— Увидим. Пока что сдается мне, что у наших нацистов все идет по плану и ты им усердно помогаешь. Без людей из твоей организации бараки не были бы построены.

— Услуга за услугу, Оскар. Они нас оставили в покое, почему же нам не строить бараки? А ребята из моей организации вчера как будто показали тебе совсем неплохими, когда пришли с палками защищать лазарет. Говорят, ты им даже улыбался.

Брада не смог сдержать улыбки.

— Да, они меня развеселили, не спорю. Когда Диего прибежал со своей лопатой и уселся с нею за дверью, как с хлопучкой от мух, трудно было не улыбнуться.

— Диего — коммунист, настоящий коммунист, Оскар! Всегда приятно видеть таких людей. А еще лучше чувствовать их плечо, когда против тебя стоят дейбели и фрицы.

Оскар согласился и с этим.

— Да, иногда коммунисты отличные ребята. Особенно когда они не пристают ко мне с политикой... С меня хватает заботы о больных. Ну, пока.

И он крепко пожал Фредо руку.

* * *

На стройке Гонза разговаривал с группой поляков.

— А не ложная была вчера тревога? — спросил кто-то. — Уж не возникли ли слухи о налете зеленых на лазарет из пустых разговоров в уборной?

Гонза объяснил, что Фредо был прав и, видимо, только забота о стройке вынудила немцев действовать осмотрительно.

— А ну тебя! — проворчал парень по имени Мойша. — Забота о стройке — это забота о концлагере, о том, чтобы он продолжал существовать и расширяться. О том, чтобы сюда можно было напихать побольше таких же, как мы. Мы уверяем себя, что немцы идут на какие-то уступки, а ведь это чушь! Сегодня придет транспорт из Освенцима. Что это значит? Это значит, что Освенцим еще у них в руках, что железнодорожные коммуникации у них в руках и действуют... Хороши уступки! [287]

— Не горюй, русские уже недалеко от Освенцима. Доживем и до того дня, когда эти транспорты прекратятся. А что ты скажешь насчет призыва немецких уголовников в армию? Видно, Гитлеру приходится совсем туго, если его должны выручать такие, как Фриц. А замечательнее всего то, что и Фрицу это пришлось не по вкусу. Свобода в военном мундире показалась ему хуже концлагеря и арестантской одежды!

* * *

Солнце сияло, в лагере исчезли последние остатки снега, дороги превратились в сплошные потоки грязи. В них даже утонуло несколько башмаков, владельцы которых не сумели раздобыть кусок веревки для замены износившихся шнурков.

У повара Мотики, разумеется, были отличные ботинки, ему нипочем была любая лужа. Сейчас он нерешительно прохаживался около конторы, словно от нечего делать, греясь на солнышке. Но на самом деле его одолевали заботы. Вчера ему сказали, что на кухню ему больше нет доступа, всю работу там будут делать девушки. Мотика едва успел вынести свои тайные запасы, припрятанные в кладовой под грудой картошки, и вот уже пришлось снять фартук и с кисло-сладкой улыбкой передать его новой властительнице кухонных котлов Эржике.

Никто не сказал ему, что он теперь будет делать. Правда, у него был украден изрядный запас хлеба, маргарина, сыра и колбасы. Неделю или две он может обойтись и без хлебного местечка. Но им уже владели мрачные мысли и страх голода. В кухне он привык наедаться досыта, нагулял жирок, а теперь, что же, подтягивать пояс? Лучше всего было бы занять место Пауля в разгрузочной команде. Это, кажется, не так и трудно: Мотика был уверен, что Зепп все устроит. Однако возникает вопрос: стоит ли сейчас связываться с «зелеными»? Через несколько дней их уже не будет в лагере, если не всех, то, во всяком случае, Зеппа, Коби и Гюнтера. И тогда Фредо составит разгрузочную команду заново, и, конечно, из «красных». Будут ли у Мотики шансы остаться в этой команде?

Мотика не пользовался любовью своего соотечественника Фредо. Единственный из всех греков, он был далек от целей и задач группы заключенных, сплотившихся [288] вокруг арбейтдинста. Выгодная работа на кухне слишком сблизила его с немцами, от старых друзей он отошел, их политические интересы были ему чужды. Еще в Варшаве Фредо не раз упрекал Мотику в том, что он отступник и бессовестный ворюга. Что же, сейчас снова обойти арбейтдинста и с помощью немцев устроиться на новую работу? А что, если в четверг исчезнет писарь, а с ним и последняя протекция?

Солнце сияло, хлюпала грязь, а Мотика никак не мог решиться. Он прохаживался около конторы и ждал, не поможет ли ему счастливый случай. Что, если вдруг оттуда выйдет Фредо и сам начнет разговор: «Ах, господи, Мотика, ты ведь ничем не занят... куда бы тебя пристроить?»

Через полчаса дверь конторы и в самом деле раскрылась. Сердце у Мотики дрогнуло. Но вышел не Фредо, а сам писарь. Ну что ж, с ним еще удобнее иметь дело!

— Привет, Эрих! — воскликнул бывший повар. — Хорошая погодка!

— Хорошая... — проворчал писарь и поспешил к воротам. Мотика торопливо зашагал ему вслед, разбрызгивая грязь.

— Слушай-ка, Эрих. Что будет со мной? Нельзя ли перевести меня в абладекоманду?

— Нет, нельзя, — хмуро ответил писарь.

— Фредо не хочет?

Писарь сощурился: солнце, слепило ему глаза.

— Да, и Фредо.

— Куда же Фредо хочет поставить меня?

Эрих остановился и насмешливо взглянул на Мотику. Почему бы не настроить этого толстяка против ловкача арбейтдинста?

— Ни за что не догадаешься! Представь себе, он хочет сделать тебя капо тотенкоманды.

Толстый повар остановился, разинув рот, щеки у него уныло обвисли. Писарь хрипло расхохотался.

— Фредо сказал, что мертвецкая — единственное место, где ты не сможешь сожрать ни куска из того, что тебе доверено. Что, разве неверно?

— Сволочь он! — проворчал толстяк, сжимая кулаки. — Если он назначит Диего капо абладекоманды, конторе не достанется ни грамма маргарина, ни кусочка колбасы! [289]

— Там видно будет... А мне что за печаль? Черт знает где я буду в четверг.

— Тебе-то лафа, — вздохнул Мотика. — А можешь ты по старой дружбе помочь кое в чем и мне?

Писарь сделал серьезное лицо.

— Едва ли, едва ли. Видишь ли, надзирательница тебя заприметила. Я сам слышал, как она говорила Копицу и Лейтхольду, что нужно убрать тебя из кухни и отправить на внешние работы, на стройку. Они все побаиваются этой бабы и, стало быть, не оставят тебя в лагере... Но не беспокойся, на внешних работах ты станешь капо, это тоже неплохо, там тебе наверняка встретятся деляги. Будут сигареты, Мотика... В обмен на золотые зубы ты получишь и шнапс и все что душе угодно... А по-свойски рассчитаться с дорогим земляком Фредо при случае тоже не составит труда.

Эрих подмигнул, пожал руку Мотике и поспешил дальше.

* * *

Тишь и благодать царили в кухне. От Мотики там остался только передник, от Фердла — палочка. Лейтхольду казалось, что и ему-то самому больше нечего делать в кухне: куда ни глянь, всюду бесшумно работают девушки; опустив глаза, они ходят мимо него, иногда перешептываются или тихо смеются. Куда приятнее видеть здесь Эржику, чем того толстого повара с воловьей шеей. Рукава у Эржики засучены, руки красные от жары, голые икры ног покраснели, а юбка так и колышется, когда Эржика, склоняясь над котлами, начищает их.

Чайниками теперь ведает маленькая Като, этакий петрушка в юбке. В ее лице с выдающимися скулами и чуть раскосыми глазами есть что-то татарское. При взгляде на нее Лейтхольд с трудом сдерживает улыбку. И если бы не волнующая и такая красивая Юлишка с ее заговорщицким взглядом и щебечущим «битташон», Лейтхольд вообще чувствовал бы себя здесь как дома и благодарил бы судьбу за удачную службу. Еще вчера, перепуганный такими происшествиями, как смерть Пауля и фрау Вирт, он уселся за стол и написал рапорт высшему начальству. «*В связи с весьма плохим состоянием здоровья, обусловленным официально установленной у меня девяностопроцентной, инвалидностью, прошу [290] срочно перевести меня из лагеря «Гиглинг 3» в другое место...*» Лейтхольд хотел тайком

отправить сегодня это послание, но по какому-то внутреннему наитию придержал его. В кухне произошла перемена к лучшему: Мотики и Фердла больше нет, можно, пожалуй, выдержать и тут, кто знает, на что он нарвется в другом месте?..

Лейтхольд с минуту задумчиво смотрел на девушек, потом зашел в свою каморку и разорвал рапорт. Как только он исчез из кухни, там начался тихий, но оживленный спор. Он возник еще ночью, в бараке, но Илона тогда прикрикнула на девушек и велела им спать. Дело было вот в чем. Все девушки отлично знали о событиях в мужском лагере и о том, что лазарету грозил погром. Набожная Мария вчера весь вечер простояла в углу барака и, закрыв глаза, молилась вслух; некоторые подружки вторили ей: «Да славится имя господне! Аминь!» Тем временем остальные девушки заметили, что Беа опять собирается на свидание у забора и даже взяла у Юлишки платочек, чтобы выглядеть понарядней.

— Нечего сказать, нашла себе кавалера, — пристыдила ее Като. — Старосту лагеря, зеленого, одного из самых ярых антисемитов!

Юлишка вступилась за подругу.

— Не придирайтесь к ней, она молода и еще ничего не знала в жизни... Вчера она мне призналась, что даже ни разу не целовалась с мужчиной. Есть же и у нее право на капельку радости.

— Радость? — возразила Илона. — Глупости ты говоришь! Какой-то нахал с усиками придет к забору — вот и вся радость? А если бы погром состоялся и Хорст убил в лазарете двоюродного брата Беа, Шандора, который работает там санитаром, она тоже пошла бы сегодня целоваться у забора?

— Хорст никогда бы этого не сделал! — всхлипывала Беа. — Он культурный человек... он сказал мне, что он инженер...

— Кто бы он ни был, у него зеленый треугольник и он немец, — отрезала Като. — Забыла ты немецких капо в Освенциме?

— Немец, немец, ну и что ж! — вскинула голову крепкотелая Юлишка. — Он сидит в лагере, как и мы, он тоже жертва Гитлера. Если посмотреть на наши [291] бритые арестантские головы, можно подумать, что и мы какие-нибудь воровки и еще похуже. А чем мы виноваты?!

— Хорст наверняка попал сюда не так, как ты. Так что не вступайся за него. Но даже Хорст, по-моему, лучше, чем ээсовец Лейтхольд, с которым ты заигрываешь, — сказала Като и быстро отскочила, потому что Юлишка, как кошка, кинулась на нее. Илоне пришлось вмешаться, иначе дошло бы до драки.

Сейчас, в воскресной тишине кухни, ссора грозила разразиться снова.

— Ну как, вкусны поцелуи убийцы с усиками? — осведомилась Като у Беа, едва Лейтхольд вышел из кухни. Девушки, чистившие картошку, засмеялись, а Беа сердито отвернулась. Юлишка подбоченилась и сверкнула глазами. Всю ночь она досадовала, что так забылась и чуть не подралась со своей подчиненной. Зачем, ведь она может действовать совсем иначе!

— Като, еще одно такое замечание — и ты вылетишь из кухни. Пойду и доложу кюхеншефу.

Раскосая девушка наклонила голову.

— На тебя это похоже, я знаю. Но я не могу молчать, когда вижу, что у некоторых из нас нет ни стыда ни совести.

— Замолчишь ты?! — Юлишка подошла с угрожающим видом. Но в глазах всех девушек она заметила безмолвное предостережение. Никто не был на ее стороне. Юлишке от злости хотелось накинуться на всех сразу, проучить их... Но она снова вспомнила, что она не кто-нибудь, а кухенкапо, и злобно усмехнулась.

— Ладно же! Вы все против меня, я это вам припомню. Не хотите, чтоб я была для вас подругой, буду только капо. Беа, где палочка, которой Фердл наводил порядок, когда мусульмане дрались из-за чайников?

Беа испуганно подняла голову.

— Что ты хочешь, Юлишка?

— Подай мне ту палку и не прикидывайся дурочкой. Живо!

Девушка повиновалась и принесла палку. Юлишка сжала ее в руке.

— С сегодняшнего дня заведу в кухне другие порядки. С вами, стервами, по-хорошему нельзя, мне это [292] ясно. Будете у меня работать, и никакой болтовни, никаких шепотков и смешков. Хотели, чтобы я стала вам врагом, пожалуйста!

* * *

Контора готовилась к приему большой партии заключенных, которая должна была прибыть этой ночью. Зденок сделал полторы тысячи чистых карточек для картотеки живых, нарезав их из оберточной бумаги и кульков, какие только писарь смог достать на складе и в комендатуре. Новичков, правда, ожидалось всего тысяча триста, но Эрих требовал, чтобы запас карточек был не меньше полутора тысяч. Теперь «коробка живых» была действительно набита битком, карточки не лежали, а стояли в ней. У писаря вновь вспыхнул интерес к столь объемистой и многообещающей картотеке. Среди этих приятных забот он даже не вспомнил, что через четыре дня пойдет на призыв и, быть может, навсегда расстанется со своими писарскими обязанностями в лагере «Гиглинг 3».

Но заниматься сейчас большой организационной перестройкой, как предлагал Фредо, писарю не хотелось. Работы и без того было по горло: завтра нужно отправить на внешние работы две с половиной тысячи заключенных. Комендатура сама не знает, чем они будут там заниматься, так что о создании рабочих бригад, подборе людей по профессиям, назначении бригадиров и мастеров пока что и думать нечего. Найти монтера, который сделает электропроводку в новых бараках вместо Фрица, оказалось нетрудно: монтеры были среди старожилов лагеря, и среди новичков их тоже нашлось пятеро или шестеро. Столь же просто было выбрать из старых филонов и из некоторых новых, хорошо проявивших себя штубовых двадцать семь старост и назначить их в новые бараки. Со всем остальным придется подождать, пока выяснится обстановка на строительстве фирмы Молль.

«Зеленые» немцы проявляли полное безразличие к делам лагеря и конторы, писаря это не беспокоило. Главного задиры Фрица уже нет, Карльхен, видимо, страшно завидует сбежавшему, а придурковатый Пепи вдруг вновь воспылал симпатией к Оскару и пришел к Эриху просить, чтобы тот устроил старшему врачу [293] разговор с Копицем. У Оскара, мол, есть ряд полезных предложений насчет

ликвидации вшей и по другим санитарным делам, он еще вчера хотел поговорить об этом с рапортфюрером.

— Чушь! — отмахнулся писарь. — Со всем этим надо повременить. Прежде всего надо принять новую партию людей и отправить их на работу. А там видно будет... Завтра побудка в пять утра, новички выйдут в том, в чем пришли, наши присоединятся к ним, всем выдадим пальто и шерстяные шапочки, и шагом марш на стройку, к фирме Молль. Новичков будет тысяча триста человек, да наших, старых, — тысяча двести. В лагере останутся больные, медицинский персонал, старосты барачков, абладекоманда и могильщики во главе с Диего. Каждую сотню новеньких поведет кто-нибудь из старых — Дерек, Жожо, Гастон, Мотика и другие, всего, стало быть, будет двадцать пять капо. Ясно?

Наступил вечер. Настроение в лагере было такое же, как в ночь, когда ждали прибытия девушек. Приедет новая партия, новые люди принесут новые вести... Кто-то окажется в этой партии? Знакомые? Земляки?

На этот раз пока еще не было запрета выходить из барачков, и, несмотря на сырой и довольно холодный ноябрьский вечер, никому не хотелось ложиться спать. Хорст с абладекомандой сидел в конторе, ожидая, не пошлет ли его комендатура на вокзал. Ведь в таких больших транспортах всегда бывают мертвые... Но за оградой было тихо, и даже отряд конвойных еще не уходил на станцию. Наступила ночь, засияли звезды. Эрих поглядывал на часы и в сторону ворот, но тщетно. Может быть, новичков не привезут по железной дороге, а пригонят пешком с другой стороны, под охраной каких-нибудь соседских конвоиров? Почему бы и нет?

В десять вечера писарь стал поглядывать на лампочку под потолком. В этот час комендатура обычно выключала свет в бараках, кроме тех случаев, когда ожидалось прибытие новых заключенных. Тогда свет горел подчас всю ночь. И вот теперь лампочки погасли. В начале одиннадцатого! И не из-за воздушной тревоги, потому что прожекторы на ограде продолжали лить свет на лагерь. Темно стало только в бараках.

— Странное дело, — проворчал писарь. — Неужто транспорт не пришел? [294]

Люди у барачков зашумели. Блочные выбежали с криками: «Спать, спать! Alles auf die Blöcke!» Заключенные потянулись на свои места. Все были обеспокоены: новенькие, стало быть, не приедут. Хорошо это или плохо?

Гонза вспомнил свой разговор с одним из товарищей: «Мыждемся дня, когда прекратятся транспорты из Освенцима... Русские уже близко». Неужто настал такой день? Это было бы замечательно! Но что же будет завтра утром, кто пойдет на внешние работы? Или война уже на таком этапе, что нацистам наплевать на эту нашу прогулку к фирме Молль? Боже мой, а что, если война вообще кончилась? Сегодня был такой чудесно спокойный день, а вчера немцы держались как-то необычно, отменили погром и не нагоняли страху... А почему не пришел давно обещанный транспорт? Почему кругом так тихо и нет воздушных налетов, как вчера и позавчера? Может быть, Гитлер капитулировал? Признал свое поражение? Может быть, войне конец?

Как ни странно, не только у одного Гонзы появились столь смелые мысли. Не прошло и десяти минут после того, как погас свет, а полутемный лагерь был как в лихорадке. Паутина нервов, протянувшаяся между бараками, дрогнула,

молниеносно передавая любое колебание во все стороны. Каждый тотчас узнавал все, что знали другие. Может быть, и в самом деле войне конец? Почему «может быть»? Наверняка, факт! Война кончилась! А что будет с нами? Ну, ясно что: утром придет международный Красный Крест и возьмет заключенных под свою опеку. Врачи швейцарцы, медицинские сестры в белоснежных халатах, грузовики с медикаментами, одеялами, шоколадом, сигаретами... Эсэсовцы откроют ворота... э-э нет, какие там эсэсовцы! Они, конечно, удерут, не дождавшись утра! Утром мы проснемся и увидим, что на сторожевых вышках никого нет и в комендатуре пусто...

— Да не порите вы чушь! — крикнул кто-то у дверей. — Вон он, часовой-то! На вышке! Как раз закуривает.

Ну и что ж! Он еще ничего не знает. Может быть, ему тоже скажут только утром. Что такое часовой, — последняя спица в колеснице! Неужели вы думаете, [295] что Копиц и Дейбель прежде предупредят часовых и только потом сами наострят лыжи? Может быть, они торжественно объявят охране: идите домой, мы проиграли войну? Как бы не так! Если они смоются, то потихоньку. Уволокут все, что накрали, а часовых оставят торчать на вышках.

Швейцарский Красный Крест (никто не сомневался, что это будет именно швейцарский) привезет множество всякой снеди и другого добра. Ведь за границей знают о нас. Дахау, черт подери! Швейцарцы в первый же день перемирия примчатся поглядеть на Дахау. Как называется их знаменитый шоколад? «Вильгельм Телль» — это молочный. А «Гала Петер» с горчинкой, но куда лучше... Я однажды курил швейцарские сигареты «Турмак», понимаешь «турмак», турецко-македонский табак, мечта да и только!

Некоторые узники болтали чуть не до утра. А те, кто уснул, спали тревожно и видели фантастические сны. Пробуждение было тягостным, потому что около пяти часов, еще затемно, послышался тревожный звон рельса и около кухни заорали: «Kafé holé-é-é!» Но тотчас послышались возгласы: «Отставить кофе! Блоковые на апельплац!»

На вышках вспыхнули сразу все прожекторы, лучи их были направлены на апельплац. На это ярко освещенное пространство, напоминавшее цирковой манеж, выбежал Дейбель. Один Дейбель! Он немного попрыгал по безлюдному плацу, сделал несколько гимнастических приседаний, левой рукой поправил тесные в шагу брюки и, объятый жаждой деятельности, нетерпеливо закричал:

— Ну, скоро вы, проминенты, *ferfluchte Scheissbande* <сволочь проклятая! (нем.)>.

Писарь выскочил из конторы, вздрагивая от холода и протирая глаза. Приятный сюрприз: Дейбель в лагере, а Копица не видать! Значит, рапортфюрер отрекся от нас. Пополнения ему не прислали, и он теперь не знает, кого послать на внешние работы. Вот он и выпустил Дейбеля, дал ему свободу действий... Тьфу!

Фирма Молль ждет от нас две с половиной тысячи человек, а мы сегодня наскребем едва ли половину. Вот Дейбель уже орет: всем строиться! Никаких поблажек лазарету, не церемониться ни с кем! А ты, дантист, [296] думаешь, ты особенный? Вот тебе, получай, посмотрим, крепки ли зубы у тебя самого. Все на апельплац, сволочи! Общий аврал, и никаких гвоздей! Никто не останется в лагере, все пойдут работать, здоровые и больные...

— Hast du verstanden, Idiot? <Ты понял, идиот? (нем.)> Все на работу! Блоковые, палки в руки и лупите так, как еще никогда не лупили! Марш, живо!

Писарь все понял. Итак, конец разглагольствований о рабочем лагере и о «новом духе». Дейбель у власти, он всех гонит на апельплац. Третий общий сбор за последние дни, и самый тяжелый. Больных тоже сюда! А как? Да хоть несите их на себе!

Надо идти, всем идти. И Феликсу тоже. Не возражай, приятель, не хочешь же ты, чтобы Дейбель взялся за пистолет? В Варшаве он так и делал: стрелял в больных прямо в лазарете...

Лужи и глубокая колея от проехавшей вчера тележки, груженной трупами, покрыты тонкой корочкой льда. Она хрустит и ломается под ногами. Из-под льда брызжет темная вода. А ведь в лагере есть «безобувные», они еще не все вымерли: около восьмидесяти босых узников тащатся по подмерзшей грязи. Они уже не перепрыгивают, выскивая места почище, не надеются ни на дощечки, ни на тряпье, привязанное к ногам. Они шагают напрямик, всей ступней. Они сдались.

12.

Тысяча триста шестьдесят четыре человека. Больше не получается, как ни неистовствовал Дейбель. В лагере остались действительно только мертвые или почти мертвые. А из здоровых — писарь Эрих, доктор Шими-бачи и пятеро могильщиков.

Дейбель решил округлить цифру хотя бы до тысячи четырехсот, поэтому Лейтхольду пришлось собрать девушек и назначить тридцать шесть из них на работы к Моллю. Юлишка воспользовалась этим, чтобы отделаться от Като и еще шести нежелательных девушек; Магде тоже пришлось послать кое-кого из своих [297] уборщиц и кухарок. В женском лагере осталась только секретарша Иолан.

Всех заключенных построили в шеренги по пять человек, проминентов вместе с «мусульманами». В стороне, прямо в грязи, лежало несколько тяжелобольных, среди них Феликс. Дейбель велел снять с них башмаки и отдал их «безобувным», пожелавшим идти на работу. Тотенкоманда притащила со склада пальто и шапочки, привезенные из Дахау. Старых, затрепанных пальто оказалось около пятисот, их дали проминентам и некоторым особенно оборванным «мусульманам». Кроме того, была роздана тысяча с лишним серых вязаных «Teufelsmützen» <«Мефистофельские шапочки» (нем.)>, каких-то детских шапочек с мефистофельским уголком на лбу; старым хефтлинкам они не понравились, и их расхватили «мусульмане».

Только в шесть часов, после того как Дейбель уже сделал для Копица самую грязную работу, на апельплаце появился сам рапортфюрер и дал приказ выступать. Заключенные сотнями выходили из ворот, писарь и Хорст тщательно пересчитывали шеренги. Потом писарь вернулся в лагерь, а Хорст побежал вперед, чтобы занять место во главе колонны, подобающее ему как «почти офицеру». Конвойные окружили колонну, которую замыкали девушки во главе с Илоной. Като хотела было запеть назло немцам, но никто из девушек сегодня не поддержал ее, и она умолкла.

Ворота закрылись, Копиц и Дейбель ушли в натопленную комендатуру, а тотенкоманда принялась разносить больных обратно по баракам. Босые и

плачущие, они лежали на холодной земле и не чаяли вернуться на покрытые стружкой нары под вшивые лазаретные одеяла. Несколько тел остались недвижимы на апельплаце. Шими-бачи осмотрел их, а Диего вернулся за ними уже после того, как развез живых. С мертвых сняли тряпье и потащили их в покойницкую. Прожекторы на вышках погасли. Лейтхольд запер калитку и заковылял на кухню. Секретарша Иолан со списками девушек осталась совсем одна в женском лагере. Она стояла за забором, глаза у нее расширились от страха, она уже не плакала, не кричала, не видела, что происходило вокруг нее, забыв и о голых трупах, и об обезьяньих прыжках [298] Дейбеля, и о плачущих мужчинах. Она думала только о своем полном одиночестве сейчас, здесь... Вот придет надзирательница и застанет ее покинутой и совсем беззащитной. Что-то будет? Никто не услышит криков Иолан, а если и услышит, не поможет ей. Девушка сама не знала, почему ей так страшно, но ей казалось, что она умирает от страха. Если даже Россхаупт вообще не придет сегодня и не убьет ее плеткой или башмаком, Иолан все равно умрет, не вынесет ужаса одиночества.

Сухими глазами Иолан смотрела в одну точку, и ей виделась занесенная над ней рука и злые, жадные глаза под рыжими ресницами, чудился запах форменного ремня и портупей. Юная венгерка не плакала и не кричала, она вцепилась зубами в свой маленький кулачок и кусала его.

* * *

Длинная колонна заключенных медленно удалялась от лагеря. Темп передвижения определяли самые слабые: хромые, люди с высокой температурой, с отеками конечностями.

Ноябрьское утро было темным и сырым. Горящие глаза Оскара искали Фредо, хотя врач знал, что он едва ли увидит грека, потому что арбейтдинст идет где-то в первых рядах. «Что-то скажет сейчас этот вечный оптимист и заговорщик? — думал Оскар. — Хорошо бы изругать его или хотя бы упрекнуть: вот он, твой рабочий лагерь! Ты помогал эсэсовцам строить бараки, ты верил им, ты попался на удочку. Меня оставили старшим врачом, не разжаловали и не избили, даже не сняли у меня повязку с рукава, и все-таки все мы, и больные и врачи, маршируем здесь в общей колонне, всех гонят на тяжелые работы. Конец всем благим намерениям! Вот рядом идет большой Имре, он уже давно не такой большой, как прежде, он ссутулился, и на глазу у него страшный «монокль» от кулака Дейбеля; свою офицерскую тросточку с резной головкой он забыл где-то в бараке. Уньло висят его искусные руки, сумевшие починить разбитую челюсть Феликса. Что будут делать сегодня эти руки? Носить кирпич и железный лом, махать киркой? Вредно это для таких рук, ах, до чего вредно! А как чувствует себя человек с оперированной челюстью [299] там, в лагере? Все мы мысленно его поддерживали, не так ли, маленький Рач? Ты идешь в двух шагах от меня, прижавшись к своему тоже невеселому другу. Видел ты, как этот пациент лежал в грязи, друг Антонеску? С него еще и ботинки сняли, а зачем? Ведь холод все равно убьет его...

Не думаете ли вы, ребята, что все это была лишь беспечная игра во врачей? Мы охотно проглатывали всякое вранье, которым нас потчевал «дядюшка Копиц». «Рабочий лагерь, новый дух, дотянем как-нибудь до конца войны» и так далее... Детские игрушки! Мы так увлеклись ими, что одна-единственная сшитая челюсть привела нас в умиление! Ну, Фредо, настоящий коммунист, где же ты, подбодри

нас! И где твой веселый друг Диего со своей лопатой могильщика. Все хоронит, хоронит?..»

* * *

Зденек, шагавший на другом конце колонны, тоже искал глазами арбейтдинста. Сам он волей случая попал в бригаду проминентов из немецкого барака, которой командовал Карльхен. Сперва Зденек испугался и даже съежился, заметив, как Берл бросил на него быстрый взгляд из-под длинных ресниц. Но встретясь взглядом с самим Карльхеном, Зденек с изумлением увидел, что тот усмехается.

— Герра писаря тоже заграбастали, — подмигнул он своему юному слуге. *Klaner Bär, da schau her, der Herr Schreiber* {17}! — капо лениво полез в карман, вынул помятую повязку Зденека, всю в табаке и каких-то крошках, и протянул ее владельцу. — Надень-ка ее, чтобы тебя на стройке не спутали с главным инженером.

Зденек тоже улыбнулся.

— Спасибо, герр Карльхен. Но на что мне здесь писарская повязка?

— Надень, надень! Можешь быть уверен, она тебе поможет.

Чех смущенно оглянулся — не высмеют ли его окружающие? — но увидел лишь безмолвные, задумчивые или равнодушные лица... и надел повязку. [300]

Много дальше, в хвосте колонны, шел со своей бригадой Гонза Шульц. Слева от него шагали Ярда и Мирек, справа — Руди и поляк Мошек. Никому не хотелось разговаривать, Гонзе тоже. Все ощущали какое-то похмелье после бесконечных ночных бесед о швейцарском Красном Кресте и были особенно раздражительны, даже злы. Если бы рядом с ними оказался сейчас грек-арбейтдинст и опять начал разглагольствовать о выгодах самоорганизации труда заключенных и пользе строительства барачков, Гонза, наверное, не удержался и дал бы ему по шее. Панибратство с нацистами, сделки с ними, мол, вы нам, а мы вам, — этого еще не хватало! Вот мы и видим, к чему все это привело: на старую работу мы сами бежали, как лошадки, а на новую нас гонят, как побитых баранов. Сбежать? Ну, по мнению Фредо, и этого нельзя. «Ты, мол, Гонза, все думаешь о себе... Я не мог бы удрать, у меня тут товарищи — греки, они надеются на меня...» Был бы этот Фредо тут, рядом, я бы ему ответил. Обязательно сбегу! Все равно, один или с кем-нибудь! Доберусь до Чехии, там хоть смогу что-то делать. Не хочу быть в стаде, которое гонят на бойню, добуду себе оружие, стану драться. Если даже меня угробят, прежде я прикончу нескольких. Не подставлю шею, как скотина на бойне, нет!

* * *

В течение двадцати минут длинная колонна тянулась по шоссе, потом свернула в поле, покрытое жнивьем. Зачем — непонятно; было плохо видно, что делается впереди. Кажется, нас ведут к железнодорожному полотну на той стороне поля? На насыпи стоит солдат с красным фонарем. Командир конвоя остановился под этим фонарем и вынул портсигар. Хорст услужливо подскочил с зажигалкой. Командир поблагодарил и сказал:

— Так что, старик, значит, в четверг? Ты рад?

Хорст кивнул.

— На такую удобную службу, как у вас, я пошел бы хоть сейчас.

— Нечего сказать, хороша служба! — сплюнул командир, обойдя молчанием тот факт, что Хорсту предстоит фронт. — Сторожить банду этих колченогих дохлятин. Вон, погляди. [301]

Колонна давно разрозненными и сбившимися шеренгами подтягивалась к насыпи. Головы шести или семи человек возвышались над остальными — это товарищи несли тех, кто уже не мог идти.

— Какой от них будет прок, не представляю, — проворчал командир охраны. — Сами еле держатся на ногах, а должны работать на стройке. Где это видано!

Постепенно колонна подтянулась к насыпи, и все стали ждать, что будет дальше. Командир охраны поглядел на часы.

— Интересно, придет ли он вовремя... В шесть тридцать пять здесь должен быть поезд. Через восемь минут.

«Через восемь минут, — зашептались заключенные, и эти слова передавались из уст в уста. — Он сказал: «Интересно, действует ли еще у них транспорт?»

К сожалению, коммуникации немцев были в исправности: ровно в шесть тридцать пять подъехал длинный пассажирский состав. Толпа задвигалась, конвойные, действуя прикладами, осаживали ее. Потом послышалась команда «Марш по вагонам!»

Карабкаться на насыпь было нелегко, но еще труднее оказалось взбираться на высокие ступеньки вагонов. Схватившись за ледяные поручни, человек поднимался на первую ступеньку, примерно на высоте своего пояса. «Черт возьми, у меня не хватает сил!» — стонали некоторые и беспомощно падали со ступеньки. Другие нажимали на них сзади, словно боясь, что поезд уйдет.

— Кто покрепче — вперед! — крикнул солдат. — Тяните дохлых! Живо!

Посадка шла медленно, шумно, но, наконец, закончилась. Настроение немного улучшилось. Шипение пара, запах дыма, стены вагонов, выкрашенные масляной краской, — вся эта знакомая обстановка радовала глаз и слух, ведь она так не походила на лагерные землянки и колючую ограду и напоминала о чем-то ином, о давнем, почти сказочном прошлом: о загородных экскурсиях, о воскресной толкучке на пражских вокзалах и в дачных поездах... Приятно было сознавать, что усталые ноги в разбитой, грязной и промокшей обуви смогут отдохнуть в поезде. «Занимайте места, милостивые государи! — кричал Франта Капустка. — Вагон-ресторан прицепят в Тшебове!»

Окна в вагонах выбиты все до одного, отопление, [302] конечно, не действует, уборные засорены... и все-таки мы едем в пассажирских вагонах! Ехать пришлось меньше получаса, но кое-кто из узников умудрился поспать и увидеть во сне, что он подъезжает к Колину [18](#).

Гонза так и не успокоился, мысль о побеге не покидала его. Глядя на обессиленных людей, он говорил себе, что не надо медлить с побегом, пока он сам еще более или менее «в хорошей форме». Во время посадки он хотел было выскользнуть из вагона с другой стороны, скатиться с насыпи, притулиться где-нибудь и дожидаться, пока поезд уйдет, но не сделал этого, потому что уже совсем рассвело, а поблизости не было ни кусточка, за которым можно укрыться. Конвойные остались

на площадках, так что на ходу нельзя было удрать. Может быть, это удастся на стройке?

Колеблясь и ругая себя за нерешительность, Гонза сунул руку в карман — и сердце у него упало: он вспомнил, что «картинка» осталась в лагере. Рентгеновский снимочек был спрятан в щелке на нарах. Неужели оставить его там, бежать без него?

Это был желанный предлог. Нет, сказал себе Гонза, пожалуй, нецелесообразно пробовать счастье в первый же день. Осмотрюсь сначала, прикину все как следует, ведь завтра мы опять проедем здесь, а с каждым днем рассветает все позже... Но долго откладывать побег тоже не годится. Завтра возьму снимок с собой, и фьюить! Пусть хоть стреляют мне вслед!

Тем заключенным, кто рассчитывал, что поезд прибудет на какой-нибудь вокзальчик и сразу выяснится, что это за стройка, пришлось разочароваться. Поезд остановился в редком леске, конвойные заорали, создавая обычную суматоху: «Живо, вы, сволочи! Вон из вагонов, стройтесь в шеренги! Живо!» Замелькали приклады. Как только колонна построилась, заключенных погнали на опушку леса, откуда открывался вид на глубокую долину, раскинувшуюся далеко внизу. Спешка вдруг кончилась, никто не обращал на узников внимания, и они могли спокойно смотреть вниз, обмениваться впечатлениями и спорить о том, где же они, собственно, находятся.

По слегка холмистой местности, окаймленная лесами, тянулась широкая долина, вся разрытая экскаваторами [303] и пересеченная рельсами узкоколеек. Дымились трубы, в темных уголках все еще желтел электрический свет, слышался лязг металла и грохот железных гусениц, сигнальные гудки и торопливый стук насосов. Какой-то заключенный, родом из северной Чехии, поднял руку.

— Ну, ясно, — сказал он, — шахта открытой разработки.

— Чушь! — проворчал его сосед из Моравы. — Здесь строят плотину.

Всюду валялись стройматериалы и крепежный лес, вдалеке виднелась кладка гигантского свода. Сверху из него торчали незабетонированные концы железной конструкции, а внизу под свод уже въезжали локомотивы, казавшиеся крохотными, — похоже было, что из настоящего туннеля выезжают игрушечные поезда.

— Мирек, ты инженер, скажи, что же это, черт возьми, такое? — спросил Гонза.

Мирек был озадачен не меньше других. Покачивая головой, он наблюдал и размышлял.

Пришлось довольно долго ждать, пока выяснится, что будут делать заключенные лагеря «Гиглинг 3». Потом прибежал какой-то толстяк, размахивая бумагами, он сердито закричал:

— Ваш лагерь должен был дать две с половиной тысячи человек. Как вы смели не выполнить разверстки?!

Но оказалось, что и для тысячи четырехсот не найдется работы. На строительство согнали массу заключенных, которые, как и гиглинговцы, ждали разбивки на рабочие бригады. Где-то около лесного вокзала их, говорят, стояло одиннадцать тысяч человек!

— Начальство совсем спятило, честное слово! — ворчал в своей деревянной будке главный инженер фон Шрамм, словно он не знал еще несколько дней назад, что дело неизбежно примет такой оборот. Но ему нравилось пошуметь и излить досаду на ни в чем не повинных помощников. — Что нам делать с такой ордой неквалифицированных людей?! Дали бы мне лучше полторы тысячи здоровых наемных рабочих. Или знаете что? Заприте куда-нибудь этих заключенных, а мне оставьте их стражу. От нее будет куда больше пользы!

Где, спрашивается, взять десятников для этих тысячных толп? И почему на каждом шагу торчат здоровенные бездельники с ружьями за плечом? Обученных рабочих взяли на фронт и пообещали фон Шрамму за [304] каждого из них по пяти заключенных. Но на черта ему заключенные! В древнем Египте можно было строить руками рабов, а современное строительство, насыщенное сложными механизмами, — это вам не какое-нибудь ристалище для массовых действий человеческого стада!

Инженер фон Шрамм, человек с седой шевелюрой ежиком, был личным другом рейхсминистра Шпеера и потому мог позволить себе говорить, что ему вздумается. Но положение от этого не менялось.

— Сейчас ноябрь сорок четвертого года, друг мой, — вздыхал его собеседник по телефону. — Утихомирься, работай как можно лучше, справляйся сам, ведь такой выдающийся специалист, как ты...

Заключенные ждали. Наконец прибежал какой-то мастер или десятник и увел сто человек. Пришел другой, ему нужно было всего пятьдесят. А что делать с женщинами? Еще их нам тут не хватало! «Гиглинг 3» вообще спятил, зачем он прислал баб? Отправьте их в рабочую столовую. Что они там будут делать? Не знаю. Но отправьте их туда!

Пятьсот мужчин пусть носят балки. Из сектора «Л-7», где эти балки мешают, в сектор «Л-16», понятно? Лучше было бы пустить на это дело два трактора, но раз уж нам прислали людей, пускай носят. Еще пятьсот человек (счет идет на сотни, прямо ошалеешь!) пошлите к брандспойтам, на цемент. Научите их поливать, а если кто-нибудь из них свалится в шахту, особенно с ним не возитесь... Тысячу человек отправьте на гибку железных прутьев, будут там подсобниками на подноске. За каждым столом оставьте одного квалифицированного рабочего, пусть он с ними займется. На опалубку свода можете тоже послать тысячу или две, мне уж все равно. Сколько их еще остается? Пропасть! Пошлите тысячу в сектор «Б-8», пусть помогают рыть канал. Геннинг как раз звонил, что у него вышла из строя землечерпалка. Выдайте им кирки и лопаты, черт бы их драл! Назад, к временам древнего Египта! Тысячу их я бы охотно отправил в тот провал, что у нас образовался в шахте номер 26... Нет, вы меня не поняли: не на работу, а просто побросать их туда и прикрыть сверху бетонной плитой... Ха-ха! Извините за глупую шутку, но это лучший способ избавиться от такого скверного человеческого материала... Ну, так забудьте о шутке и пошлите тысячу [305] Швандтнеру. Может быть, ему вздумается выкорчевать еще часть леса, он этим увлекается, вот они ему и заменят бульдозер. У Зейселя, наверное, найдется работа человек для трехсот, а? Ну, сколько еще остается?

Так, на глазок, под брань и проклятия, шло «распределение рабочих рук». Над столом главного инженера висел график строительных работ, испещренный

грозными пометками о сроках и датами с восклицательными знаками. Но фон Шрамм только рукой махал, он уже ни к чему не относился всерьез.

— «К шестнадцатому ноября — корпус «А», к третьему декабря — корпус «Б», к тридцать первому декабря — весь первый тракт, к двадцатому января...» Э-э, смех да и только! У нас тут работа в три смены, прямо-таки дым коромыслом, а заключенных нам дают только на девять часов в сутки — как же их приспособить? Ночью, мол, их нельзя посылать на работу по соображениям безопасности, чтоб не удрали во время затемнения, и всякое такое прочее... Так не привязывайтесь к нам с этими сроками... Или посадите всех нас за решетку, и пусть стройка будет сплошным лагерем, все равно к этому идет дело, а, Дитрих? Опять глупая шутка, но мне все равно! Допустим, в апреле у нас действительно все будет готово. А ты веришь, что у них там, наверху, к тому времени найдется оборудование, которое надо установить в этих корпусах? Шиш с маслом! Всюду дела идут вкривь и вкось, всюду не ладятся. До апреля тысяча девятьсот сорок пятого года, мой милый, еще так далеко, как до светопреставления!

* * *

Тысячу человек туда, тысячу человек сюда, тысячу наверх, тысячу вниз... Стройка превратилась в кишачий человеческий муравейник.

— Ну что, Мирек, понял ты наконец, что тут будет? — спросил Гонза, когда очутился рядом с Миреком.

Тот пожал плечами.

— Больше всего похоже на подземные ангары или на крупный завод. Сказать по правде, я не видывал у нас ничего подобного. Делается это, очевидно, так. Они выбрали продолговатый холм в лесу, очистили его от деревьев, подровняли поверхность. Потом надели на него стальную конструкцию и забетонировали ее. А теперь [306] идет выемка грунта из-под свода, который образовался таким образом. Понял? Хитро придумано, сберегает массу труда: не нужно возиться с лесами и прочее. К тому же все сооружение сразу замаскировано. Вот погляди, из того огромного жерла под сводом выезжают составы с землей. Там теперь оборудуют цеха или что-нибудь в этом роде...

Гонза кивнул.

— Ладно. Но какое же это подземное сооружение? Свод-то снаружи.

— Этот белый? Он еще не готов, потому и виден. Потом туда навезут земли, может быть даже высадят деревья, и будет холм как холм.

— Здорово, — признал Гонза. — Мастаки! А как скоро все это будет готово?

— Откуда я знаю, — кисло усмехнулся Мирек. — Понятия не имею, насколько глубока должна быть эта выемка и что они построят рядом. Когда оттуда вылетят первые самолеты, нас с тобой здесь наверняка не будет.

— А где мы, по-твоему, будем?

— Наверное, под землей, как и этот ангар.

* * *

Никто из заключенных, разумеется, не слышал, как главный инженер фон Шрамм сравнил свое строительство с сооружением египетских пирамид. И все-таки всем

польским евреям пришло в голову подобное сравнение. Как не вспомнить библейскую историю о горьком хлебе, нужде, крови и грязи и о бичах земли Мизраим? Подгоняемые прикладами конвойных, узники медленно поднимались на холм, хватаясь исцарапанными руками за торчащие из бетона железные прутья, неуверенно ступая по шатким доскам опалубки. Свод ангара был крут, как грань пирамиды. Фантастическая, вблизи еще более непостижимая стройка ощетибилась злобно и угрожающе. И здесь фараон возводил дело-своей гордыни, дабы умножить славу свою и на вечные времена закрепить власть. Власть над порабощенными народами, власть над потомками тех, кто ляжет костями на этой стройке...

Тяжело было взбираться на самый верх, тяжело поднимать груз и нести его на костлявой спине. У заключенных подкашивались ноги, дрожали руки. Не раз слышался глухой удар прикладом в бок и стоны побитого узника. [307]

Гонза вздрогнул и поднял голову, ему показалось, что кто-то смотрит на него. Он обернулся. Фредо!

Нарукавная повязка давала греку право ходить по всей территории стройки. Он с улыбкой подошел к чеху, сверкнул белыми зубами.

— Salud!

— Что тебе? — недружелюбно спросил Гонза.

— Пойдем со мной, я тебе покажу кое-что.

— На меня ты не рассчитывай. Никаких бараков я больше строить не буду.

— Не дури, речь идет совсем о другом.

Гонза опустил доску, которую держал в руке.

— Говорю тебе, чтобы ты меня не...

— Was gibts? — к ним подошел конвойный.

— Этот человек нужен в другом месте, — хладнокровно объяснил Фредо и указал конвойному на свою повязку с надписью «Арбейтдинст». — По распоряжению герра инженера.

— Is gut, — кивнул конвойный и отвернулся.

— Ну, пойдем же! — прошептал грек. — Если ты считаешь, что мы до вчерашнего дня действовали неправильно, об этом можно поговорить вечером. А сейчас есть совсем новое дело. Обстановка изменилась, и нам надо действовать иначе. Пошли!

Гонза молча зашагал рядом с Фредо, твердо решив, что не даст вовлечь себя ни в какие новые затеи.

— Здесь собрались люди из четырех гиллингских лагерей, — быстро и настойчиво говорил Фредо. — Всюду примерно одинаковый состав: поляки, чехи, венгры и другие национальности. Вон там, на той стороне, я нашел большую группу твоих земляков. Ты должен немедленно связаться с ними...

— На меня не рассчитывай, — проворчал Гонза. — Говори, что хочешь, я все равно сбегу.

— Отговаривать тебя я не стану. В конце концов, бороться с фашизмом можно

всюду, в Чехии тоже. Но помоги мне сегодня связаться с этими людьми. Потом найдешь вместо себя кого-нибудь другого, тоже надежного парня, чтобы он с ними поддерживал...

— Никакой я не надежный, — сказал Гонза и остановился. — По крайней мере не для этого дела. Хочешь здесь, в Гиглинге, играть в партийную работу, пожалуйста. А я в такие затеи уже не верю. Я был прав насчет [308] бараков, прав и сейчас. Не знаю, как ты представляешь себе антифашистскую борьбу здесь. Гиглинг для нее неподходящее место, а эта стройка и подавно. Меня, может быть, пристукнут прежде, чем я доберусь домой, но я хотя бы подерусь с ними по-настоящему. Эх, раздобыть бы оружие!..

Фредо взял Гонзу под руку и потянул его дальше.

— Не останавливайся, а то на нас обратят внимание. Только малые дети думают, что нельзя бороться без оружия, взрослый человек должен рассуждать иначе. Представь себе, например, на какой риск пошел бы русский парашютист, чтобы попасть на эту стройку. На то самое место, где ты сейчас стоишь и так по-дурацки упрямишься!

Гонза поднял насмешливый взгляд.

— Язык у тебя подвешен неплохо, я однажды уже признал это. Умеешь уговаривать.

— Я не уговариваю тебя сейчас работать на немцев. А что ты скажешь о примере с парашютистом?

— Если бы он спустился тут, то не с пустыми руками, как у меня сейчас. Найди пример получше.

— И этот пример не плох. Что было бы у него в руках? Динамит, например. Но динамит можно достать на любой большой стройке, стоит только проявить инициативу и связаться с настоящими людьми. Надо пошевеливаться, не робеть и по-настоящему ненавидеть Гитлера... а не только болтать о том, что, мол, в другом месте работать было бы лучше. Ну что, пойдешь со мной или нет?

Фредо тоже остановился; он уже не улыбался, взгляд его был холоден.

— Веди меня к тем чехам, — проворчал Гонза. — Видишь ведь, что я иду! [309]
[311]